Ю. В. САЛЬНИКОВ

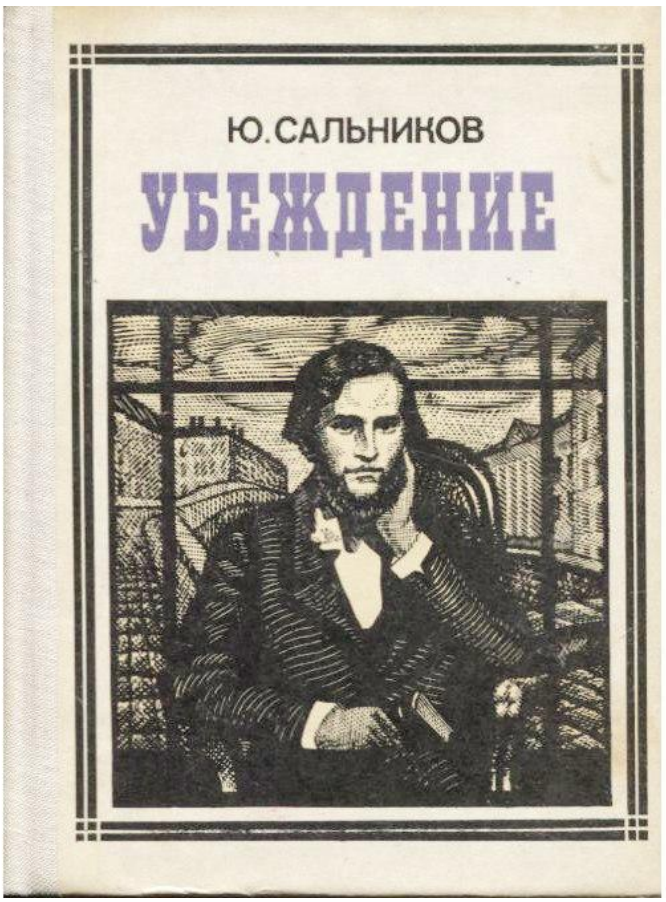
УБЕЖДЕНИЕ

Мы начинаем публиковать главы из книги Юрия Васильевича Сальникова «Убеждение». Эта документальная повесть рассказывает о формировании личности основоположника русской педагогической науки – Константина Дмитриевича Ушинского, столь глубоко почитаемого нами.

Несмотря на то, что повесть была создана в советское время, в ней отсутствуют эпизоды обличения его религиозных «заблуждений». Но преобразовательная деятельность на ниве народного просвещения порой трактуется как выражение революционно-демократических устремлений, которых не было и в помине. Эти эпизоды мы сократили.

При этом написана повесть очень живым, теплым, удивительно отточенным языком, проникнута искренней сердечностью. И хоть и адресована книга подросткам, но всей душой воспринимается взрослыми читателями.

Автор иллюстраций – В. К. Бисенгалиев.



1 ГЛАВА

– Новичок, глядите – новичок!

Таким задорным возгласом с незапамятных времен встречают учеников в школе бойкие старожилы. Так случилось и солнечным сентябрьским утром почти сто пятьдесят лет назад в маленьком городке Новгород-Северском, когда через порог ветхого деревянного здания местной гимназии перешагнул двенадцатилетний мальчик – худощавый, бледный, скромно одетый. Он вежливо поздоровался, но тут же растерянно умолк, потому что с шумом и гамом налетели на него разновозрастные гимназисты, окружили, забросали вопросами:

– Ты кто? Откуда? Где живешь? В какой класс пришел?

– Глядите, да он худышка, кащей! – Вопросы сменились насмешливыми замечаниями, и один бесцеремонный верзила начал ощупывать у новичка мускулы, а низенький толстяк с заплывшими глазками даже толкнул, проверяя, устоит ли худышка на ногах.

Прижавшись к стене, новенький напружинился, готовый дать отпор любому, кто бы еще осмелился до него дотронуться. Но внезапно толпа гимназистов испуганно выдохнула: «Герасим!» – и растаяла. Перед новеньким остановился учитель в синем мундире со светлыми пуговицами. Заложив руки за спину и, как петух, склонив голову набок, он покосился строгим глазом:

– Чей будешь?

– Константин Ушинский.

– Пойдем.

Вслед за учителем Костя Ушинский вошел в большой, мрачный зал. Под окнами во всю длину зала стояли ученические скамьи – по две в ряд. Над учительским столом висел огромный портрет какого-то важного военачальника. Был он в потемневшей тяжелой раме. И все здесь было словно почерневшее от древности, старое и обветшалое – нудно скрипели и прыгали подгнившие полы, исшарканные башмаками гимназистов, плохо затворялись рассохшиеся двери, убого выглядели изрезанные ножами скамьи, совершенно утратившие свою первоначальную краску.

– Твой третий класс здесь, садись, – сказал учитель и ушел.

К новичку опять мигом прихлынули гимназисты.

– Это наш инспектор Герасим Иванович, – уже миролюбиво сообщил толстяк, тот самый, что толкался в коридоре. – Учти наперед – спиной он видит лучше, чем глазами.

– Да он добрый, – заметил некрасивый паренек с лицом, изрытым оспой.

– Хо, добрый! – заспорил толстяк. – Попадешься, и отлупцует, не задумается.

– А ты не попадайся, Пролаз! – засмеялись вокруг.

Звонок заставил всех рассыпаться по местам. Вошел согбенный лысый старик – латинист.

И начался урок – для Кости Ушинского первый урок в жизни, потому что, хотя Костя и был записан в гимназию два года назад, учился-то он до сих пор дома, под наблюдением мамы.

Мама умерла прошлой зимой... Костя часто приходил на кладбище, сидел у зеленого бугорка и не в силах был свыкнуться с мыслью, что доброй мамы нет больше на свете, не мог понять, почему ее, молодую и красивую, унесла жестокая болезнь.

Перед смертью она говорила Косте, что ему придется учиться в гимназии. И однажды, когда ей стало полегче, привела сына сюда, с их хутора, с противоположной окраины города, чтобы Костя взглянул на свою школу. Старое здание, низенькое и длинное, с крохотной будочкой наверху, где болтался, позванивая жалобно, колокольчик, казалось совсем невзрачным. Оно походило более на паровую винокурню, чем на храм науки, однако именно в нем ютилось созданное еще при царице Екатерине училище, которое позже стало именоваться Новгород-Северской гимназией. Ученики – общим числом до четырехсот – набирались из разных губерний Малороссии и селились по квартирам. Для жителей небольшого Новгород-Северского эти приезжие панычи были источником хорошего дохода – в иных домах жили по шесть, семь, а то и по десять квартирантов.

Костя и раньше, когда гулял с мамой, встречал на улицах шумных гимназистов. Они всегда казались ему слишком бойкими и непонятными. И сейчас, сидя в классе, он не чувствовал себя равным в их среде. Многие были гораздо старше по годам, прошли здесь и ад и чистилище поветового, то есть уездного начального училища, и к моменту, когда попали в гимназический рай, успели вон как вымахать: сидят в третьем классе чубатые да усатые. Были среди них старательные зубрилы – эти лепились поближе к учителям, усердно отвечали на вопросы. А беспечные бездельники восседали на задних скамьях, куда едва долетал голос учителя, и занимались там, чем хотели, – вырезали из березовых наростов трубки, играли в карты, просто спали. Через зал был вход в учительскую – когда кто-нибудь из учителей проходил, ученики вставали; это мешало занятиям.

Нет, не приглянулась Косте мрачная школа! И тоскливо смотрел он за окно, мечтая о блаженной минуте, когда отпустят его с уроков на свежий воздух...

Он возвращался домой по высокому берегу живописной Десны. На пяти холмах-кручах раскинулся Новгород-Северский. В русских летописях этот древний город упоминается с двенадцатого века. В отличие от Новгорода Великого его именуют иногда Малым. Путь Кости лежал с восточной окраины города на западную мимо брамы – так здесь все называли триумфальную арку, воздвигнутую в честь Екатерины, когда-то проезжавшей мимо этих мест в Крым. За густыми деревьями слева тянулись глухие стены Спасо-Преображенского монастыря, а узенькая уличка выводила к центру, где среди нескольких каменных двухэтажных зданий и приземистых торговых рядов возвышался собор. Дорога ныряла в заросшие кустарником овраги и снова взлетала на кручи. Оставляя за спиной деревянную Никольскую церквушку в Загрядье, Костя наконец попадал на Покровщину. Здесь стоял их дом. Окруженный тенистыми липами, дубами и фруктовым садом, был он не столь уж велик, но в соседстве с хозяйственными строениями выглядел молодцевато-весело.

По четыре версты вышагивал Костя каждый день, пока добирался от дома до гимназии. Он любил эти прогулки. Нередко задерживался на берегу красавицы Десны, садился где-нибудь на пригорке и глядел, как спокойно несет река свои воды на юг. На другом, низком берегу широко расстилались зеленые заливные луга, плавно уходящие к темно-синим лесам на горизонте.

Преданиями старины овеяна здесь каждая пядь земли. С этих самых круч в 1185 году спускался князь новгород-северский Игорь Святославович, уводя за собой дружину в неудачный поход на половцев, о чем поведал нам автор «Слова о полку Игореве». И место, где стояла княжеская крепость, до сих пор называют Замком Игоря. Не только царствующая Екатерина Вторая побывала тут, но еще ранее и Петр Первый. Гетман Мазепа почему-то именно в Новгород-Северском вздумал совершить свое предательство, да разгадал Петр его коварный замысел и, упредив гетмана, занял город. Местные жители охотно показывали дом на Кляшторе, близ Успенского собора, где царь провел несколько дней у сотника Журавки. А еще веком ранее здесь же, в Спасо-

Преображенской обители, соседствующей с гимназией, жил Гришка Отрепьев, который четыре лета спустя появился перед городскими стенами с войском польским как самозванец Димитрий, претендент на престол московский. Упорно защищались тогда горожане, поднятые воеводой Басмановым, но поляки овладели городом и разорили его...

Будоражили, волновали Костю рассказы из далекого прошлого.

Завороженный героическими видениями, смотрел мальчик с высоты на излучину Десны, на прилепившийся к высокому берегу тихонький деревянный городок, на маленькую его пристань, где обычно грузились пенькой или камнем две-три баржи. Этого дикого камня – песчаника здесь видимо-невидимо; в плешинах между травяными островками на склонах холмов повсюду проступает белесый мергель или белоснежный мел, что придает пейзажу особую просветленность, мягкость тонов и красок. Да и вообще – куда ни взглянешь – радует глаз тонкая красота природы, ласковая и спокойная, нежная Десна, город в садах, густо заросшие овраги с прохладой ключевых источников, сочная луговая даль заречного раздолья.

Косте было девять лет, когда родители перебрались сюда из Вологды. Отцу предстояло еще несколько лет служить до пенсии, и он остался в Вологде со старшими сыновьями – Александром и Владимиром. А мама – Любовь Степановна – с Костей, Сережей и двухлетней Катенькой переехала в Новгород-Северский, где прошло ее собственное детство, где жила ее родня. И сразу дом их наполнился солнцем, светом и теплом. В холодной Вологде все было иначе. Костя не помнил Тулы, где родился, – его вывезли оттуда семимесячным ребенком. Но и Вологду теперь он не хотел вспоминать, хотя в последнее время жили там не на частной квартире, а в своем домике на Обуховской улице. Все равно там не было такой близости к буйному цветению весны, пышному наряду лета и щедрому плодородию осени. Здесь же целые дни Костя проводил в лесу, дышал свежим привольем полей.

Мама приучала любить и понимать природу. Как хорошо рассказывала она про каждую травинку, про каждую капельку воды! Гуляя с Костей и Сережей, останавливала их около какого-нибудь цветка или у бьющего из-под земли прозрачного родника в овраге и говорила: «Смотрите, слушайте». Маленькие волны пробивались меж камнями, подымая и крутя песчинки, разбрызгивая капли. Костя прислушивался, и ему чудилось, будто капли нашептывают удивительные истории. «Я была снежинкой. А я слезой. А мы носили корабли в море. Мы утоляли жажду человеку в пустыне. Мы никогда не знаем покоя и, поднявшись высоко, скоро опять станем облаками и помчимся по небу, пока не найдем места, где нас снова ожидает работа».

Не только капли, но и бесчисленные песчинки казались Косте каждая на свое лицо. А что говорить о деревьях! С маминой помощью любое из них приобретало особенный неповторимый характер. Толстый коренастый дуб напоминал богатыря. Роскошная душистая липа, в цветах которой гудел пчелиный рой, казалась хлебосольной хозяйкой. А березка... Не было дерева приветливее и милее стройной березки. Она словно девочка в белом платье, в зеленом передничке, выбежавшая утром в сад, чтобы умыться холодной росой. Так и веяло от нее свежестью, чистотой, весельем.

«Смотрите!» – призывала мама, и Костя приглядывался ко всему с любознательным нетерпением. Мир открывался перед ним в поразительном многообразии. Вот обыкновенный одуванчик. Какая же в нем жажда жизни! Дети рвут желтые головки с дутыми пустыми стеблями, молочный сок которых оставляет на

руках темные пятна, и нещадно истребляют белые шарики, пуская по ветру легкие пушинки... А невзрачный одуванчик знай себе растет повсюду – на зеленой кайме пестрого цветника, на кромке хлебного поля, даже просто посреди дороги, на тех узких полосках, что нетронутыми оставляет колесо крестьянской телеги, пробираясь по глубокой колее.

Костя уходил в лес или на широкий луг, ложился в высокую траву и наблюдал... Шуршит, возится в травяных зарослях, как в непроходимых тропических джунглях, медлительный жук. Стрекочет оглядчивый, осторожный кузнечик, замирая при малейшем порыве ветра. Нежно звенит золотистая мушка, вьющаяся над тонкой былинкой. Все поражало в природе – и малое, и великое. Зернышко росы – и звездное небо. Крохотный муравей – и великан клен.

Длинными зимними вечерами мама рассказывала сказки, читала стихи Жуковского и Пушкина. Костя очень любил эти тихие уютные вечера...

Когда много лет спустя педагог Ушинский сел за свой письменный стол, чтобы написать книжки для учеников, перед его мысленным взором всплыли картины детства, проведенного на хуторе близ Новгород-Северского. В книге «Детский мир» он описал случаи, которые так и пометил в подзаголовках: «Из рассказов хуторянина».

И в «Родном слове» среди героев-детей изобразил мальчика по имени Костя, а все связанные с ним события тоже объединил общим названием: «Из детских воспоминаний».

ИЗ КНИГИ «РОДНОЕ СЛОВО»:

«Вчера вечером у нас были гости, встречали Новый год. Но я не дождался двенадцати часов и заснул не раздевшись. Сегодня все поздравляют друг друга с Новым годом и желают друг другу счастья. Мамаша надела на меня новенькую рубашку. Приходили крестьянские дети и обсыпали всех ячменем и пшеницей, желали хорошего урожая в новом году. Сегодня мы едем в гости к тетушке...»

«Зима начинает надоедать... Масленица близехонько! Ах, если б весна приходила поскорее!»

«...Снег еще белеет кое-где в тени; но на дворе у нас совсем сухо, и весело идти по сухой земле. На реке только чернеет бывшая дорога. Вот бы теперь по ней проехаться! Переправы нет уже два дня».

«Рано мы проснулись сегодня. Мы знали, что у нас на дворе целый воз березок и что надобно расставлять их по двору, и на воротах, и на крыльце, и в комнатах по углам. Правду говорят, что троицын день – зеленый праздник...»

«Сегодня у меня не один праздник, а много: я именинник, мне подарили книгу...»

Не только праздники привлекали Костю в окружающей жизни. Он внимательно присматривался к крестьянской работе. Он видел, как нелегко достается хлеб – в поте лица работают в поле крестьяне. И какая нужна привычка косарю, чтобы без устали махать тяжелой косой! Каким терпением должны обладать жницы, чтобы жать хлеб под палящими лучами солнца, нагнувшись до самой земли, задыхаясь от жары и усталости! Бедной женщине даже некогда покормить ребенка, который тут же на поле барахтается в люльке, висящей на трех кольях, воткнутых в землю. А сколько должен знать крестьянин!

ИЗ КНИГИ «ДЕТСКИЙ МИР»:

«Пахать надо умеючи, а чтобы хорошо посеять, ровно, не гуще и не реже того, чем следует, — то даже не всякий крестьянин за это возьмется. Кроме того, нужно знать, когда и что делать, как сладить соху и борону, как из конопли, например, сделать пеньку, из пеньки нитки, а из ниток соткать холст... О, много, очень много знает и умеет делать крестьянин, и его никак нельзя назвать невеждой, хотя бы он и читать не умел! Выучиться читать и выучиться многим наукам гораздо легче, чем выучиться всему, что должен знать хороший и опытный крестьянин».

Эти строчки звучат как прекрасный гимн крестьянскому труду. Педагог Ушинский написал их уже в конце своей жизни. Но чтобы написать их, он должен был постигнуть истинную ценность будничной работы русского землепашца. С детства приобрел он безграничное уважение к труду простых людей. Да и сам, по своему характеру, стал неутомимым тружеником. Таким воспитала его мать, Любовь Степановна: любознательным, работящим, отзывчивым и справедливым.

Константин Дмитриевич часто потом говорил: «Характер человека формируется именно в первые годы жизни».

2 ГЛАВА

После смерти мамы в доме сделалось безрадостно-пусто. Костя увлекся чтением. С жадностью набрасывался он на книги – в отцовской библиотеке было много исторических и военных сочинений. Дмитрий Григорьевич сам воевал в 1812 году с Наполеоном, участвовал в Бородинской битве. Еще задолго до рождения Кости он вышел в отставку в чине подполковника и теперь на гражданской службе в Вологодской казенной палате занимал должность губернского казначея.

Он редко писал письма, мало интересовался, как живут в Новгород-Северском сыновья Константин и Сергей.

Потеряв в лице матери умного наставника, Костя окунулся в мир книжных героев – реальных и вымышленных. Он скоро понял, что его товарищи по классу знают куда меньше, чем он. И долгое время ни с кем из них не мог сойтись ближе: не соблазняли пустые затеи бездельников, не привлекало и тупое прилежание зубрил. При этом, однако, он не чуждался мальчишеских забав и, как все гимназисты, азартно носился в перерывах между уроками по кручам Десны, вступал в воинственные игры, плавал по громадной луже на плоту, сооруженном из досок монастырской ограды. Наведывался он с одноклассниками и в центр города, на грязную площадь, где под навесом деревянного балагана продавались всякие сладости – бублики и маковники, аппетитно

разложенные на прилавках перед торговками в синих халатах, в островерхих головных уборах.

В гимназию ученики являлись два раза в день – утром и после обеда, а после занятий рассеивались по городу. В классах от них требовалась дисциплина, нередко подкрепляемая палями, – что означало удар линейкой по пальцам, за стенами же школы каждый был предоставлен сам себе. Только изредка инспектор Герасим Иванович навещал старшеклассников на их квартирах, пытаясь изловить слишком уж развеселившихся гуляк. Но хозяева обычно оберегали от глаз гимназического начальства выгодных постояльцев, поэтому чаще всего нашествия инспектора кончались ничем.

Костя после уроков неизменно рвался домой. Никакая дурная погода – дождь, слякоть, ветер – не могла его удержать в городе, где при желании он всегда сыскал бы себе пристанище на ночь. Но нет! Не ночевать дома даже одной ночи было для него сильнейшим мучением. Один раз за невыученный урок его оставил в гимназии учитель. Костя воспринял это наказание как страшное несчастье. Он умолял учителя отпустить его, даже плакал. Учитель не смилостивился. И вот разошлись ученики, опустела школа, остались в ней лишь инвалид – сторож Парамон да этот учитель – «варвар», обитавший одиноко при гимназии в тесной комнатушке. Костю поместили в комнате рядом, и весь вечер до него доносились звуки флейты – играл учитель, а ему подвывал пудель; учитель звонко хохотал после каждой собачьей рулады. Костя затыкал уши, чтобы не слышать через стенку этой неистовой музыки, закатистого смеха, собачьего лая. Он не мог уснуть ни на минуту и утром не выдержал, убежал – убежал только затем, чтобы дойти до дому и тут же снова воротиться в гимназию.

Друг, в конце концов, нашелся... Им стал Миша Чалый, тот некрасивый, отмеченный оспинами ученик, который при первой встрече Кости с классными товарищами назвал инспектора Герасима Ивановича добрым человеком. Костя ловил сочувственные взгляды Чалого, да и сам с любопытством присматривался к нему. Шестнадцатилетний Михаил – из числа великовозрастных старожилов класса – отличался от своих ровесников серьезным отношением к учебе. Однажды после уроков он подождал Костю у выхода из гимназии и сказал:

– Пойдем вместе? – Оказалось, что он жил под Замковой горой, на полдороге до Костиного хуторка.

Они пошли вместе. Была поздняя осень, но стояли солнечные, ясные дни. С низовья, с заречных просторов тянуло влажной свежестью; оголенные, осыпавшие листья деревья глухо стучали почерневшими ветками, мир природы был лишен своей нарядной красоты, но сохранял необъяснимую прелесть пронзительно-чистых далей, умытых недавно пролившимися обильными дождями.

– Хорошо, правда? – спросил Чалый, вдыхая всей грудью прозрачный воздух, и начал увлеченно рассказывать, как любит он бродить по окрестностям Новгород-Северского, сидеть на берегу Десны или на Замковой горе.

Не сговариваясь, они сразу направились на Замок и сели на бугре у провалов, бросая камешки в бездонные трещины. В городе бытовала легенда, будто в глубине этих пещер спрятаны несметные сокровища, но охраняет их стоглавый змей. Не веря в сказку про змея, они посмеялись, однако спуститься вниз не решились – по тем же слухам, немало смельчаков, охотников до богатых кладов, оставили там свои жизни. Предания, прошлое родного края волновали Мишу Чалого, как и Костю Ушинского. И вообще, поговорив о гимназии, о товарищах, об учителях, они обнаружили много общего. Только совсем непохожей на Костину была домашняя жизнь Чалого.

Его воспитанием в семье никто и никогда не занимался. Отец – мелкий лавочник – пристрастился к спиртному и все до гроша пропивал, мать, выбиваясь из сил, не ведала, как прокормить, кроме сына, еще двух маленьких дочерей.

Светила ему в этом темном царстве домашнего неуюта лишь одна путеводная звезда: дедусь Алексей Иванович. Миша помнил его стареньким, немощным, почти ста лет от роду, неподвижно сидящим на своей лежанке. Потомок гайдамака Саввы Чалого, когда-то величественный, высокий, с широкой бородой, смотрел он из-под густых бровей кротко и беспомощно. Но до конца дней был в доме главою семьи – живым укором всякому безобразию.

Умер дедусь год назад, и для Миши тогда чуть не оборвался интерес к верной жизни. Забросил он учебу, шлялся по монастырской слободке в сообществе двух двоюродных братцев-искусителей, которые уже давно оставили гимназию. Да опомнился, вернулся в школу, захваченный неистребимой мечтой: стать ученым человеком!

Костя слушал товарища и думал – не у одного Чалого, у многих бородачей, что сидят с ним в третьем классе, охоту к учебе отбила начальная школа: много лет провели они в пекле поветового училища, да мало приобрели знаний. И сейчас – в гимназическом раю – все ли так хорошо? Почти про каждого учителя хоть анекдот рассказывай! Француз Терех совсем не знает русского языка – переводы за него готовит супруга. А математик Бонче? Вечно путается у доски в формулах и задачах. Вызубрит урок, а начнет объяснять и на половине споткнется. Стоит перед доской да знай нюхает табак, прочищая мозги. А хорошим ли манерам может научить инспектор Герасим Иванович, если он, следя за порядком, наводит его лишь кулаками и палкой? Недавно захватил гимназиста на гулянке и отдубасил его – воспитатель называется!

– Герасима ты не замай, – заступался за инспектора Чалый. – У него сердце есть. А ежели дерется, так иные хлопцы одну силу и признают, слов не понимают.

– Потому и не понимают, – стал спорить Костя. – Душу-то человека с детства развивать надо.

– Лучше уж палкой, чем директору ябедничать, – настаивал на своем Чалый. – Герасим-то Илье Федоровичу никогда не жалуется.

– Мудрено и жаловаться, когда директор почти в гимназии не бывает.

В этом он был прав. Не балуя гимназию частыми посещениями, директор Илья Федорович Тимковский, однако, оказывал на учеников благотворное влияние. Был он для своего времени личностью незаурядной, человеком очень образованным – профессор Харьковского университета, доктор прав и философии, член Великобританского и Геттингенского ученых обществ! Харьковский университет Тимковский покинул из-за болезни и поселился в деревне Турановке, в сорока верстах от Новгород-Северского. Приняв на себя обязанности директора гимназии, он как педагог придерживался передовых воззрений – это ведь, таясь от него, инспектор Герасим Иванович пускал иногда в ход кулаки. Тимковский же был принципиально против телесных наказаний. И требовал от учителей, чтобы они изгоняли зубрежку, добиваясь хорошего, сознательного усвоения учениками каждого урока. С русской словесностью гимназисты знакомились по учебнику Тимковского «Опытный способ к философическому познанию русского языка». Правда, в литературе Тимковский придерживался консервативного направления, поэтому не только Жуковский и Пушкин, но даже Карамзин не включался им в число образцовых русских писателей. Любитель пышного слога и пафосной декламации, Илья Федорович преклонялся перед римскими поэтами и первое место в преподавании отводил латыни.

Появляясь в гимназии в конце декабря перед роспуском воспитанников на рождественские каникулы, он собирал всех в залу и произносил страстную речь. Начинал директор обыкновенно с какой-либо крылатой латинской фразы.

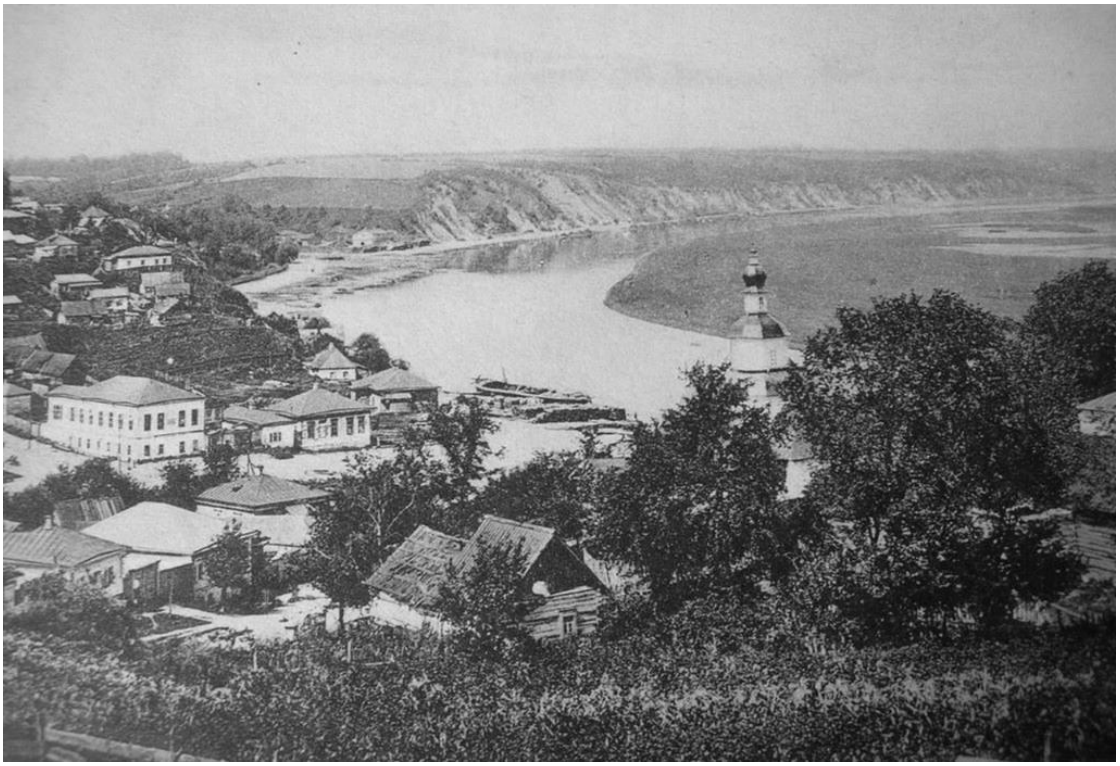
– Синэ ира эт студио! – восклицал он. – Без гнева и пристрастия!

Тимковский красочно развивал мысль данного выражения, принадлежащего древнеримскому историку Тациту, применительно к жизни гимназистов, а окончив речь, давал ученикам старших классов несколько тем для сочинений и отбывал в свою Турановку до поста.

В великий пост он непременно принимал участие в богослужении, когда читался покаянный канон Андрея Критского.

Но особенно торжественно, празднично и размашисто проводились экзамены. Тут уж Тимковский в полной мере проявлял свое благоговейное отношение к науке вообще и к древним писателям в частности. Он привозил с собой целую кипу книг в красивых кожаных переплетах, садился, как на трон, в высокое кресло перед длинным, покрытым красным сукном столом, и с утра до вечера неутомимо экзаменовал учеников, заставляя читать латинских авторов без подготовки, с листа. Восторг и похвалы вызывали у него гимназисты, свободно переводившие произведения Вергилия, Овидия и знаменитые речи Цицерона. Впрочем, терпеливо выслушивал он и тех, кто знаниями не блистал, – подолгу не отпускал от себя, помогал разбираться в трудностях перевода.

Всегда ровный, спокойный, он сохранял олимпийскую невозмутимость, даже когда вокруг все суетились. Самый вид почтенного старика с живыми глазами, его искренняя увлеченность поэтами древности, преданность духу творчества, звучный голос и авторитет имени производили на гимназистов неотразимое впечатление. Невольно следуя примеру директора, они начинали относиться к товарищам, блестяще знавшим латынь, с чувством особого уважения. Директор уезжал, а слава отменного латиниста долго держалась за тем или иным учеником.



3 ГЛАВА

Дружба Кости с Чалым крепла, однако вскоре стало заметно, что характеры у них несхожие. Оба они любили природу, но если Чалого тянуло охотиться – у него было ружье! – то Костя никак не мог понять этого удовольствия «убивать птичек». У обоих друзей была похвальная черта – скромность, однако скромность Кости никогда не переходила в смиренность.

Первый же экзамен показал разницу мальчишечьих натур.

Тимковский дал задание – писать сочинение на тему «Израненный грек возвращается из-под Трои». Костя Ушинский написал толково, обстоятельно, но в очень спокойной манере. И когда вышел к экзаменационному столу, то прочитал сдержанно. Он знал, что директор любит пышность слога и декламацию с пафосом, и все-таки не стал подлаживаться под его вкус. Он и не заслужил лестного отзыва – Тимковский остался недоволен сухостью изложения.

А Михаил Чалый развернулся вовсю:

– Что предвещает этот шум, наполнивший священную Элладу? – велеречиво начал он свое выступление. – Куда бегут эти бурные волны населяющих ее народов?..

Директор, довольный, прервал:

– Прекрасно! — И тут же причислил Чалого к тем ученикам, которые были достойны огласить свои сочинения на общегимназическом торжественном акте.

Костя Ушинский с иронией относился к подобному успеху. Тешить собственное тщеславие было не в его правилах. Да еще кривить душой. Когда Чалый увлекся писанием стихов и с надеждой спрашивал: «Ну, как?» – Костя, послушав его стихи, честно ответил:

– Нет, Миша, поэта из тебя не получится.

А когда новый учитель французского языка мосье Дениз пустился восхвалять Наполеона, Ушинский встал и во всеуслышанье заявил, что этот прославленный император – диктатор и деспот.

Так смело он высказывал и твердо отстаивал свои убеждения с самых ранних лет. И до всего доходил собственным умом.

Однажды в классе его увидели с толстым томом Шиллера на немецком языке. Раскрыв книгу, он углубился в чтение. Ушинский слабо знал немецкий, и товарищи решили: «Пускает пыль в глаза». Однако он действительно читал без словаря.

– Что же ты понимаешь? – удивился Чалый. – Без лексикона, не зная многих слов?

– Отдельные слова остаются неизвестными, – ответил Костя, – но я стараюсь понять следующую мысль, тогда и предыдущая становится ясной. Зато быстрее выучу язык.

Со временем он и вправду стал свободно понимать и легко переводить с немецкого.

Длительные прогулки по пустынным кручам ему вскоре пришлось опять совершать одному. Чалый, помогая матери содержать младших сестер, был вынужден заняться репетиторством. Он даже переехал на квартиру, которую один из местных помещиков снял для своих сынков. Поселившись вместе с ними, Михаил подтягивал их в учении. На встречи с другом, на развлечения у него уже не хватало времени.

Оставаясь один на один с природой, Костя внимательно следил за каждой переменой в ее облике. Тающий снег, чернеющий лед реки, проталины в саду, прилет птиц, шумно бегущие с гор ручьи – все было предметом его пристального изучения. Он так увлекался этими наблюдениями, что забывал обо всем на свете.

Завороженный впечатлениями бытия, медленно шагал он в одиночестве и невольно поддавался искушению фантазировать. Он придумывал какую-либо героическую историю, участником которой делал самого себя. Знакомая местность при этом, конечно, преображалась – восстанавливались полуразрушенные валы, поднимались зубчатые стены, а тихий монастырь превращался в неприступную цитадель.

Воинственные легенды Новгород-Северского при этом причудливо переплетались со сказаниями удалого казачества или вычитанными из книг Вальтера Скотта волнующими приключениями. Не было в этих фантазиях места лишь событиям из реальной жизни: то, что окружало Костю, казалось ему серым, будничным, малоинтересным.

Впоследствии он сам осознал, что слишком большое уединение, длинные, более чем полуторачасовые прогулки в гимназию и назад по кручам Десны в соединении с несколькими десятками путешествий и романов, которые он прочитал в библиотеке отца, слишком рано и сильно развили в нем мечтательность.

Учился Костя легко. Его выручали большие способности. Частенько, не приготовив урока, лишь на ходу ознакомившись в классе с заданием учителя, он отвечал не хуже, а даже лучше тех учеников, которые все тщательно выучивали дома. Но в последних классах он запустил занятия – в 1838 году случились два важных события, одно дома, другое в гимназии, которые многое изменили в Костиной жизни.

В доме появился отец. Приехав наконец из Вологды, он женился. Мачеха Кости оказалась женщиной неплохой, но ее любовь к шумным празднествам наполнила тихий домик Ушинских гостями, музыкой, танцами; балы и пирушки, собиравшие в основном военных, не прекращались ни днем ни ночью. У Кости даже не было места для приготовления уроков, привычного уединения на хуторе он более не находил. Не возникло и душевной близости с отцом. Костя почувствовал себя чужим в доме.

Не поэтому ли Ушинский за всю жизнь никогда и нигде не упоминал об отце – ни в одном из писем к друзьям, ни в одной из книг. Только в статье, написанной им уже в сорокалетнем возрасте, есть строки: «Вот папаша, обладающий грубейшими манерами полкового писаря, заботится об аристократичности своих детей и колотит сынишку за то, что он поиграл с сыном дворника». Не намек ли это на Дмитрия Григорьевича, который всемерно стремился укрепить свое положение в избранном обществе и в 1838 году вписал в дворянскую родословную книгу Черниговской губернии и сына Константина. Ушинский потом во всех документах указывал, что он «из дворян». Но он всегда был истинным демократом, испытывая непримиримую неприязнь к людям, которые кичились «высоким» происхождением.

Изменилась поздней осенью 1838 года атмосфера и в гимназии. Внезапно разнеслась весть: приехал директор! Обычно посещениям Тимковского предшествовала суета инспектора и возня сторожей, натиравших пол. А тут необычный приезд: Герасим Иванович таинственным голосом передал приказание – всем собраться в зале.

Пока гимназисты сходились, Тимковский стоял на излюбленном месте под портретом военного губернатора Малороссии Репнина. Окинув воспитанников грустным взглядом, он достал из кармана приготовленную речь.

– Дети! Я вас оставляю. Пишите отцам вашим, что меня с вами уже нет. – Тут он не выдержал и зарыдал.

Заплакали и многие ученики. Красноречивый доктор философии на этот раз едва ли и закончил бы свою прощальную речь, не запиши он ее заранее...

А через две недели появился новый директор – бывший военный, штаб-лекарь Батаровский. Оказалось, что Илья Федорович навлек на себя гнев вышестоящего начальства тем, что, редко бывая в гимназии, с запозданием отвечал на служебные бумаги.

Батаровский начал свою деятельность с уверений, что изгонит «тимковщину». Входя на цыпочках в классы, он вкрадчиво-вежливым голосом внушал воспитанникам, что отныне будет наблюдать за ними неукоснительно и строго. За этими обещаниями, однако, не последовало никаких нововведений. Да и самого штаб-лекаря ученики видели не чаще, чем прежде Тимковского.

Но когда подошел очередной экзамен, ученики остро ощутили, чего они лишились, потеряв прежнего директора. Уже не было ни торжественности, ни праздничности. Батаровский сидел за экзаменационным столом ко всему безучастный, вопросов не задавал и отметки выставлял несправедливо, сообразуясь лишь с годичными баллами. Экзамен превратился в пустую лотерею.

Благоговейного отношения к наукам со стороны директора и учителей гимназисты больше не видели. «Тимковщина» и впрямь была изгнана, зато воцарились формализм и казенщина. К сплошной зубрежке свелось учение, вконец разболтались

лентяи-гуляки, а деятельные натуры, такие, как Ушинский, остались предоставленными самим себе...

А между тем в старших классах многие гимназисты начинали серьезно задумываться о жизни. В заветные тетрадки переписывались запрещенные стихи, в рукописи читался и перечитывался «Ревизор». Острое любопытство вызывали учителя-поляки.

Поляков было много в то время на Украине. В поведении многих из них подчас можно было уловить отзвуки восстания 1830 года, направленного против российского самодержавия. Политические разговоры в открытую, конечно, не велись, но враждебность к себе со стороны некоторых учителей-поляков учащиеся ощущали. Физик Доморадский, например, демонстративно нюхал табак из табакерки с портретом вождя польского восстания Костюшко.

Осмысливались и события декабристского восстания – факт недалекой истории, всего пятнадцатилетней давности. Ученики-старожилы шепотом рассказывали, как десять лет назад начальство с треском изгнало из стен гимназии «крамольников», проявивших интерес к «Донесению следственной комиссии». Даже этот официальный правительственный документ был запрещен для гимназистов – ведь малейшее упоминание о лицах, поднявших руку на самодержавную власть, казалось блюстителям порядка страшным преступлением. Начальство куда с большей терпимостью относилось к пьяным дебошам гимназистов, нежели к попыткам рассуждать о политике. Пустоголовые пропойцы были менее опасны, чем доморощенные умники.

Гимназист Ушинский ходил в умниках. Товарищи его так и называли – «философ».

Придя однажды к Чалому, он долго разглядывал висевшие на стенах литографии – малохудожественные, но, по замыслу авторов, весьма поучительные картинки. Одна из них изображала женщину с малюткой на коленях; женщина поила ребенка из блюдечка молоком, а надпись внизу гласила: «Жизнь человеческая». Костя вдруг воскликнул:

– Нелепость! Неужели в этом процессе питания состоит жизнь человеческая? Выкормить человека, вырастить – это еще не все! А зачем вырастить?

Перед уроками в классе он теперь обычно молча вышагивал, заложив руки в карманы, и не принимал участия во всеобщей суете. Если же вступал в разговор, то выкладывал свои мысли с юношеской категоричностью, суждения его звучали предельно сжато, почти афористически: «Духовное развитие отражается в наружности человека». Или: «Всякая сила – слепа». Развивая мысль о силе, которая одинаково готова творить и разрушать, смотря, какое ей дано направление, он добавлял: «Все решается наклонностями человека и его убеждениями».

Убеждение – вот качество, которое он считал самым главным в человеке. И презирал тех, кто не имел убеждений. Беспринципные люди становились для него личными врагами.

Вокруг были, конечно, разные люди. И добросовестные ученики, такие, как Чалый. И откровенные лентяи или бездарнейшие «практики», как Алеша Пролаз. Этот Пролаз умел вывернуться из любого положения. Урок он отвечал так, что вообще никто не понимал, знает он что-нибудь или не знает. «Не молчит же», – думал преподаватель и ставил тройку.

На уроке французского языка, пользуясь тем, что учитель плохо знал русский, Пролаз выдумывал такой перевод, что все покатывались со смеху. Но не с каждым преподавателем мог он позволить себе такую вольность. А Костя смотрел на этого Пролаза и видел: растет из него подхалим, угодливый перед одними и жестокий с другими.

Привлекала личность единственного в классе среди малоросских панычей москаля Миколы из города Трубчевска. Сохраняя свой орловский тип, этот Микола-Русский постоянно подвергался насмешкам со стороны товарищей, особенно приставал к нему Григорий Лавриненко. Но Микола-Русский держался с достоинством, добрый и бесхитростный...

Чем ближе подходило время выпускных экзаменов, тем тревожнее становилось на сердце у многих гимназистов. От первых классов поветового училища вместе с Михаилом Чалым и другими старожилами добралось до выпуска всего четырнадцать человек. Эти гимназисты, как и те, кто пришел в класс позже Кости Ушинского, хотели теперь добиться самых лучших успехов, чтобы или продолжать учебу дальше, или удачно устроиться на казенной службе.

Чалый мечтал поступить в Киевский университет, многие хотели попытать счастья в Харьковском, а Константин Ушинский... По правде сказать, он очень волновался, думая о предстоящем последнем экзамене. Не тревожили его предметы гуманитарные – словесность, история, их он знал отлично, не очень беспокоили и языки – латынь, немецкий, особую тревогу вызывала математика. И не потому, что Константин Ушинский относился к ней несерьезно. Уж очень плохо преподавал Бонче-Осмоловский. Почти для всех семиклассников и алгебра, и аналитическая геометрия были камнем преткновения.

– Давай готовиться вместе, – предложил Ушинский Чалому.

Михаил согласился, они начали заниматься сообща. Однако настроение у Кости не улучшалось – он часто мрачно молчал, накатывалась на него угрюмая хандра.

Бывало, придет к Чалому и, даже не поздоровавшись, отправится в сад, ляжет там под яблоней на траве, закинув руки за голову, и застынет часа на два, глядя в небо. Михаил, сидя в комнате, занимаясь, сделает вид, будто не замечает состояния товарища, и спустя какое-то время Константин подойдет, заговорит...

Что же было причиной таких настроений? Только ли предэкзаменационная тревога? Нет! Думы куда более серьезные. О сложных противоречиях жизни. О царящей вокруг несправедливости... Григорий Шабловский – сын городского головы, повеса, гуляка, дебошир – ни на секунду не сомневался, что он-то окончит гимназию великолепно. И не потому, что хорошо учился, а именно потому, что его отец такой значительный в городе человек. Да и сам Гришка – первый тенор гимназического хора: за это ему несомненно будет поблажка!

А разве справедливо поступили с историком Ерофеевым?.. Ерофеев был любимым учителем гимназистов. Во-первых, он прекрасно преподавал. Он не ограничивался тощими казенными учебниками, а зная языки, знакомил учеников с фактами средней и новой истории по книгам солидных иностранных авторов. А во-вторых, он был замечательный собеседник, эрудит, знаток литературы, тонко чувствующий художественное слово. И не от словесника Китченко, а именно от Ерофеева услышали гимназисты еще в самом начале учения о таланте Гоголя. Они удивились однажды той высокой оценке, которую историк дал автору небольшой повести «Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».

– В этой смешной повести, господа, – сказал Ерофеев, – проглядывает значительное дарование. Судя по началу, от молодого писателя можно ждать гениальных произведений.

Так вот, этот самый Михаил Гаврилович, прямой, искренний, умный, отважился вступить в борьбу с новым директором. В Новгород-Северский приехала какая-то графиня – полуразорившаяся, но с большими претензиями. Она потребовала, чтобы преподаватели гимназии обучали ее детей прямо на дому. Директор Батаровский угодливо согласился, приказал учителям, и все учителя подчинились. Все, кроме Ерофеева. «Это ни с чем не сообразно!» – воскликнул он и отказался ехать к барыньке, усматривая в этом требовании умаление человеческого и профессионального достоинства учителей. Протест Ерофеева обозлил Батаровского. Когда для ревизии в гимназию прибыл попечитель, Батаровский нажаловался на Ерофеева, и тот получил выговор.

Чего стоило образованному учителю при его благородном самолюбии перенести необоснованное обвинение! Ерофеев немедленно подал заявление об уходе из гимназии. Только необходимость завершить учебный год задержала его на месте. И он еще поставит свою подпись на документах выпускников Новгород-Северской гимназии в 1840 году. Однако его учительская карьера была кончена...

А как дальше жить в этом мире им, завершающим учение в гимназии? Ведь делать-то что-то надо? Кем-то быть надо? Надо же куда-то стремиться, вступая в этот мир – несправедливый, суровый, даже жестокий, построенный на торжестве силы невежественных людей...

Выпускные испытания прошли для Ушинского неудачно. Он вытянул на математике невыигрышный билет. И запутался при ответе. А вернее будет сказать, что свою педагогическую несостоятельность продемонстрировал на этом экзамене учитель

Бонче-Осмоловский: многие его воспитанники перед лицом авторитетной комиссии показали весьма низкие знания по математике.

Позже, когда уже взрослым человеком Ушинский познакомился с постановкой образования в разных губерниях России и за границей, он сделал вывод: Новгород-Северская гимназия стояла в тогдашней России не ниже, а выше многих других подобных заведений в учебном отношении. Конечно, собственно воспитательной части, как пишет Ушинский, тогда просто не существовало. «Мы узнавали только кое-что то из той, то из другой науки, но любили и уважали то, что узнавали, и это уже было много».

Ушинскому был вручен не аттестат, а лишь увольнительное свидетельство, в коем помечено, что он «при превосходных дарованиях старание к приобретению знаний употребил посредственное». И не было сделано для него никаких поблажек, как для иных выпускников, к которым начальство благоволило. Толстяк Шабловский с такими же «успехами» по математике все-таки удостоился аттестата!

– Ну, ничего, – сказал Константин, беря в руки свидетельство. – Я докажу им, что стою аттестата больше, чем какой-нибудь знатный лоботряс!

Он уже знал, что будет делать дальше. Желанной целью маячил перед ним Московский университет.

Чалый выезжал в Киев – заслужил право учиться за казенный счет в Киевском университете. Отправлялись в путь и те, кто выбрал университет в Харькове. Москва казалась недосягаемой. Но нашлись Ушинскому и попутчики: у одноклассника Василия Глотова был брат Семен, окончивший Новгород-Северскую гимназию за несколько лет до этого. Он учился в Москве и писал оттуда письма, соблазняя земляков привольной студенческой жизнью.

Константин решил получить высшее юридическое образование в учебном заведении, слава о котором гремела по всей России. Да и в самом слове «Москва» скрывалось ни с чем неизъяснимое очарование. Кремль, Иван Великий, Кузнецкий мост – эти названия были близкими, родными. Сколько раз, в раннем детстве, дремля в углу дивана, слышал он их в разговорах отца и матери. И если уж говорить точнее – это он, Костя, соблазнил Василия Глотова поехать в Москву.

В конце июня ранним солнечным утром они выехали, наняв троечного извозчика – скромные средства не позволяли ехать на почтовых. Прощание с домом печалило Костю – впервые отрывался он от родных мест так надолго. Но к невольной грусти примешивалось и отрадное чувство – широкий мир, о котором столько мечталось, открывался наконец впереди. И вот за спиной красивые горы, с которых удалой князь Игорь отправлялся на половцев; скрылись и главы Спасова монастыря.

Ехали двенадцать дней – мимо Мценска, Орла, Тулы... Эти города казались им, не видевшим до того времени ничего лучше Новгород-Северского, неописуемо красивыми и громадными.

Но что же почувствовали они, когда ямщик еще до света разбудил их, спавших в кибитке, громким возгласом:

– Господа, не хотите ли взглянуть на Москву?

Сон в минуту слетел с Ушинского, он вскочил и, стоя на передке, во все глаза смотрел, не понимая, неужели это один город обхватил полгоризонта? Москва была еще далеко, едва виднелась в светлом утреннем воздухе, но уже покоряла своим

величием. Потянулись бесчисленные деревеньки и поместья, обступавшие матушку Белокаменную со всех сторон. Но вот и застава – документы показаны, шлагбаум открыт, кибитка застучала по городской мостовой в путанице кривых улочек.

Остановились неподалеку от Сухаревой башни, и, едва были внесены в номер вещи, Константин развязал чемодан, переоделся и через четверть часа уже выходил за ворота гостиницы.

– Куда так торопишься? – спросил ямщик.

– В Кремль, голубчик... Кремль хочу посмотреть.

Москва поразила его – и Сухарева башня, куда вода поднимается, чтобы потом взлететь красивым фонтаном на какой-нибудь площади; и блестящие магазины Кузнецкого моста с саженными стеклами; и громадный театр, глядя на который, задрав голову, можно потерять фуражку; и Охотный рынок, где, казалось, собралась ярмарка; Китай-город с громадным гостиным двором; прекраснейший памятник Минину и Пожарскому... Но все эти впечатления померкли, когда, оставив тряские дрожки, прошел он за стены Кремля. Стоя на небольшой площадке, Костя был окружен златоглавыми соборами, церквами, дворцами. Какой-то человек, заметив его изумленный вид, взялся за полтинник показать весь Кремль.

Семен Глотов встретил земляков с шумной радостью, с распростертыми объятиями и поцелуями. Громогласно объявив о своем желании содействовать в устройстве на квартиру, он тут же потребовал деньги «на обзавод». Собрав же их малую толику, исчез бесследно. И появился лишь через неделю – опухший, хмурый, виноватый... Все пропил... Брат его, Василий, еще в гимназии тоже изрядно поклонявшийся Бахусу, последовал примеру старшего братца и вскоре куда-то сгинул. Костя понял: с такими товарищами ему не по пути. Он снял дешевую комнатушку недалеко от здания университета и подал на имя ректора прошение о допуске его к вступительным экзаменам.

Он сдал их успешно и был зачислен на юридический факультет.

4 ГЛАВА

«Жизнь человечества остановилась бы на одной точке, если бы юноши не мечтали».

С глубоким волнением входил студент Константин Ушинский в здание университета на Моховой улице. Открытый в середине XVIII века стараниями великого Ломоносова, Московский университет за восемь с половиной десятилетий выпестовал столь многих знаменитых людей России, что одно воспоминание о них вызывало душевный трепет. Шагая по гулким коридорам, распахивая двери в просторные кабинеты, Константин представлял, как учились и мужали здесь будущий опальный сатирик, враг Екатерины, издатель язвительного «Трутня» – Новиков и автор знаменитого «Недоросля» – Фонвизин. А в недалеком прошлом студентом Московского университета был Александр Полежаев, сочинивший свободолюбивую поэму «Сашка», за которую Николай отдал поэта в солдаты и сослал на Кавказ. Начинал здесь учиться десять лет назад и Виссарион Белинский, да был исключен якобы из-за «плохих» способностей... А теперь этот «неспособный студент» стал всероссийски известным критиком – его статьи увлеченно читали и московские студенты, с нетерпением ожидая каждый номер «Отечественных записок» из Петербурга. «Есть Белинского статья?» – «Есть!» И она поглощалась с лихорадочным

сочувствием, со смехом, со спорами, и… трех-четырех верований, уважений как не бывало», – вспоминал позже Герцен.

...Гудели переполненные аудитории, звонкоголосо шумел дешевый трактирчик «Великобритания». Это был своеобразный студенческий клуб – здесь можно было не только перекусить, но и узнать политические новости, просмотреть газеты, найти популярную книгу. На стене тут висело расписание лекций, служители предупреждали посетителей о начале занятий.

Когда в «Великобритании» за столиками было полно студентов, это наверняка означало, что в данную минуту на кафедрах находятся малоинтересные профессора. То ли дело, когда лекции читали историк Грановский или кумир будущих юристов правовед Редкин. Тут уж «Великобритания» пустела!

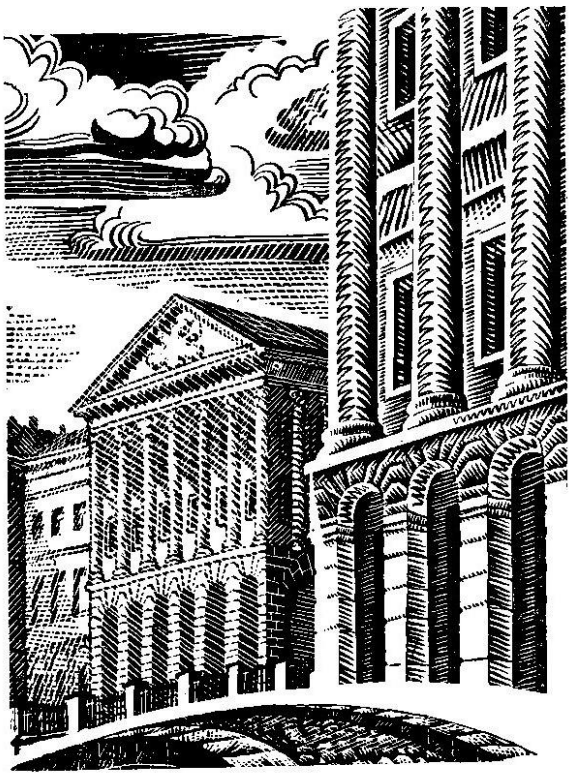
Россия еще задыхалась под гнетом реакции, охватившей все стороны жизни после казни декабристов. Николай I усиленно насаждал охранительную теорию, которую выразил триединой формулой министр просвещения граф Уваров: «православие, самодержавие, народность». Передовые люди России ее не принимали. Однако добровольные защитники этой официальной самодержавной «народности» сыскались и в Московском университете – ими стали историк Погодин и его друг – профессор словесности Шевырев.

«Кто мы? Когда мы? Откуда мы? Где мы? И что мы?» – такие вопросы ставил Погодин в своих лекциях, но слушать его почти никто не хотел, как, впрочем, и Шевырева, который в отличие от грубоватого Погодина распространялся о литературе певуче-изысканным стилем, многословно, но малосодержательно – записывать его было легко: за час набиралось существенных мыслей едва ли на полстранички. Зато любил Шевырев к месту и не к месту цитировать итальянских поэтов, хвалясь произношением чужого языка. И при всей своей слащавой изысканности становился остервенело злым, едва речь касалась русских писателей-реалистов. Небольшого росточка, тщедушный, с каким-то смешным квадратным брюшком, он свирепо нападал на Гоголя, ставя его ниже третьесортных бездарных сочинителей.

– Ай, Моська, знать она сильна! – смеялся Ушинский, и товарищи поддерживали его – им Шевырев так же не нравился, как и Погодин.

Конечно, студенты были тоже разные. Отпрыски родовитых дворян, щеголявшие французским языком, мундирами с треуголками и белыми перчатками, болтали лишь о балах да рысаках. Были они надменно-спесивы со своими ровесниками-разночинцами. А иные из будущих юристов проявляли лакейское угодничество перед влиятельными профессорами – раболепно записывали лекции, лишенные всякой научной ценности, из подхалимства делали визиты будущим экзаменаторам.

Ушинский смеялся как над великосветскими львами, так и над верноподданными холуями. Из среды аристократов он выделял одного лишь князя Владимира Черкасского. Черкасский был человек целеустремленный, эрудированный, учился с большой серьезностью. Он и закончил университет первым кандидатом, Ушинский занял второе место.



7*

Аристократы редко посещали трактир «Великобритания». Они для себя облюбовали более дорогую кофейную Печкина. «Великобритания» же была центром студентов-демократов. В их кругу Константин Ушинский стал пользоваться авторитетом с первых дней университетской жизни.

Товарищей поражала его удивительная память. Он легко запоминал даты, формулы, цифры. В разговоре, скажем, он мог свободно перечислить все горные вершины Центральной Европы, с указанием их высоты над уровнем моря. Но при таком цепком внимании к деталям Константин обладал способностью быстро схватывать самое главное в теме, которую развивал профессор. Нередко после лекции товарищи окружали его:

– Послушай, дружище, разъясни-ка ты нам попонятнее про эти самые нибуровские идеи, о которых толковал сейчас с кафедры декан!..

Он выглядел хрупким юношей, с тонкими чертами красивого бледного лица, изящно-стройный, подчеркнуто спокойный. Правда, в спорах он сильно горячился, но потом сам от этого страдал, давая себе твердый зарок быть более сдержанным.

…– Ушинский! – В переполненную «Великобританию» ворвался однокурсник, всегда очень подвижный, рыжеватый Юлий Рехневский. Размахивая какой-то бумажкой, он издали закричал, пробираясь между столиками: – Два билета в Малый! Идешь?

Малый театр с его знаменитыми актерами Щепкиным и Мочаловым привлекал Константина. Скудные средства, получаемые от отца, не позволяли посещать спектакли часто. Жить приходилось скромно, дополняя бюджет частными уроками. И в комнате, которую Константин занимал, он фактически проводил только ночь. Остальное же время суток бывал либо в университете, в библиотеке, либо ходил давать уроки, обедал и ужинал в «Великобритании». Однако от театра никогда не отказывался. Однажды в Москву из Новгород-Северского приехал Костин дядя. Он тоже собрался сходить в

театр, но вынужден был срочно уехать. И неиспользованный билет оставил племяннику. Константин повертел нежданный подарок в руках: роскошно! Разве не праздник – посидеть в партере? Только не лучше ли продлить этот праздник, не соблазняясь роскошным рядом? И, подняв билет над головой, Константин объявил в аудитории:

– Кто желает встретиться с великим трагиком на близком расстоянии?

Желающий из более обеспеченных студентов тут же нашелся. А Константин, не теряя времени, направился в кассу театра и приобрел сразу несколько дешевых билетов — пусть на галерке, зато побывает в театре неоднократно.

Не отказался он от предложения Рехневского и на этот раз.

А в театре увидел Александра Островского и Алексея Писемского. Эти студенты-однокурсники разделяли его увлеченность сценой. Будущий драматург Островский учился с Ушинским на юридическом факультете, но после второго курса оставил университет, занялся литературным трудом. А Писемский, хотя и был на физико-математическом факультете, сблизился с Ушинским тоже благодаря любви к искусству. Писемский и сам пробовал силы в литературе. Вообще в кругу друзей Ушинского литературные интересы занимали большое место. В Москве в 1842 году даже вышел сборник студенческих произведений «Подземные ключи». В нем напечатал стихи начинающий поэт Полонский, который учился вместе с Ушинским. Под литерами «В. А.» скрыл свое авторство и князь Черкасский.

Константин Ушинский стихов не писал. Но однажды он взялся за перо и накатал трагедию! Огромную, пятиактную. Вдохновила его на это игра Мочалова. Лихорадочно водя пером по бумаге, Константин представлял, конечно, в главной роли любимого актера. Он вообразил, что осчастливит Мочалова, предложив ему свою пьесу для представления в день бенефиса. И, едва поставив последнюю точку, схватил свежеиспеченную рукопись и ринулся из дому: немедленно лично прочесть свое необыкновенное творение трагику!

Он шел по улице бодро, уверенно, не задумываясь, что и как будет дальше. Но когда позвонил у входа, парадная дверь распахнулась и возник пред ним знаменитый хозяин, Константин застыл, не в силах произнести ни слова. Всю самоуверенность как рукой сняло. По-домашнему, в халате, стоял великий Мочалов и вроде бы казался ниже ростом, чем на сцене...

– Что вам угодно, сударь? – уже который раз повторял артист, с недоумением разглядывая незваного молодого гостя.

И голос этот! Голос, который способен выразить все оттенки страданий – громовой рокот отчаянья короля Лира, прерывистые крики бешенства Отелло, тихий шепот негодования Гамлета.

– Я к вам, позвольте, – проговорил Ушинский.

Он не помнил, как объяснил цель своего прихода и как оказался в гостиной, на краешке стула, с развернутой рукописью, а Мочалов, усевшись поудобнее в кресле, приготовился слушать.

Ушинский начал читать, захлебываясь словами, стараясь каждого героя изобразить интонацией. Мочалов терпеливо прослушал два акта, потом прервал юного автора и без обиняков заявил, что, к сожалению, все написанное никуда не годится. Ушинский расстроился. И ушел обескураженный. Но, пережив неудачу, он потом искренне смеялся над собой, рассказывая Юлию Рехневскому, как отважился мучить Мочалова своим глупейшим графоманским опусом, в котором не оставил к концу в живых ни одного героя – всех уничтожил насильственной смертью.

Литературные и театральные увлечения в студенческие годы были, однако, для Ушинского не главными. Со всем пылом юности он отдавал себя философии, истории и естественным наукам. Вместе со всеми студентами-юристами он высоко ценил профессора государственного права Редкина. Петр Григорьевич Редкин, будучи в Германии, слушал самого Гегеля. Страстным пропагандистом гегелевского учения он и сделался, вернувшись в Россию. Человек доброй души и благородных побуждений, он искренне верил, будто наука и цивилизация помогут людям обрести счастье. Эти мысли он высказывал с кафедры вдохновенно, лекции его зачастую превращались в пламенные импровизации. Слушать их собирались не только юристы, но и медики, и математики — многие из них даже переходили на юридический ради профессора Редкина.

Ушинский мог по праву считать себя вдвойне счастливым – и оттого, что слушал все лекции Редкина как студент юридического факультета, и оттого, что именно Петр Григорьевич стал его научным руководителем.

Профессора поддерживали деловые отношения со студентами не только в учебных аудиториях. Они приглашали учеников к себе домой, делились личными записями, помогали доставать необходимые книги, беседовали на животрепещущие темы. Постигая под наблюдением Редкина труды Гегеля – «Философию права» и «Философию истории», Ушинский гордился повседневным общением с человеком, который в гимназии учился с Гоголем, а теперь дружил с Грановским, Белинским и Герценом.

Молодой Герцен, появившись в Москве после новгородской ссылки, как раз в это время напечатал под псевдонимом «Искандер» в «Отечественных записках» интересные статьи о науке и природе. Привлек он внимание передовых людей России и остроумным фельетоном-пародией «Путевые заметки г. Вёдрина». В этом фельетоне он высмеял бездарный стиль и реакционный дух обывательских писаний профессора Погодина. Бывая в университете, Герцен принимал участие и в организации публичных лекций Грановского. А выступления Грановского по истории средних веков Англии и Франции всколыхнули в то время всю образованную часть московского общества.

Константин пришел на первую публичную лекцию Грановского вместе с другом Рехневским. Аудитория была заполнена до отказа – тут и университетские профессора, и преподаватели из других учебных заведений Москвы, штатские лица и военные, дамы всех возрастов. Студентам не хватало места – они столпились у входа, заняли лестничную площадку. Грановский появился на кафедре под гром рукоплесканий, скромно раскланиваясь, явно смущенный. Он не был наделен красотой, которая бросается в глаза с первого взгляда, – черты лица крупные, неправильные, нос и губы толстые, но высокий открытый лоб, зачесанные назад, доходившие до плеч темные волосы и прекрасные, почему-то всегда грустные черные глаза создавали облик человека, одухотворенного большой мыслью.

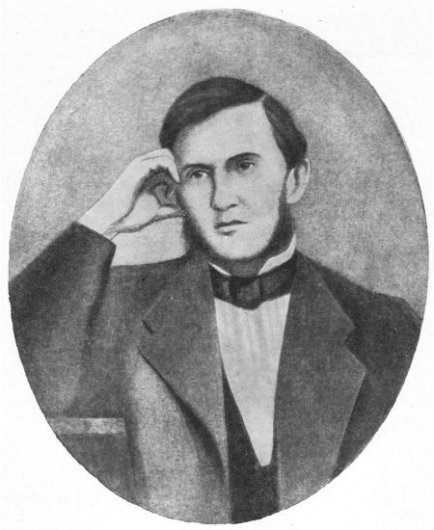
Когда же Грановский начинал говорить – негромко, даже слегка пришепетывая, но голосом очень приятным, проникающим в самое сердце, то сразу всех покоряла обаятельная манера его речи, в которой простота изложения сочеталась с глубиной гуманных идей. Он осуждал произвол, мракобесие и невежество средневековой Франции и как будто совсем не касался России, но слушатели понимали его намеки и в закономерностях исторического прогресса видели пути развития и своей многострадальной закрепощенной родины.

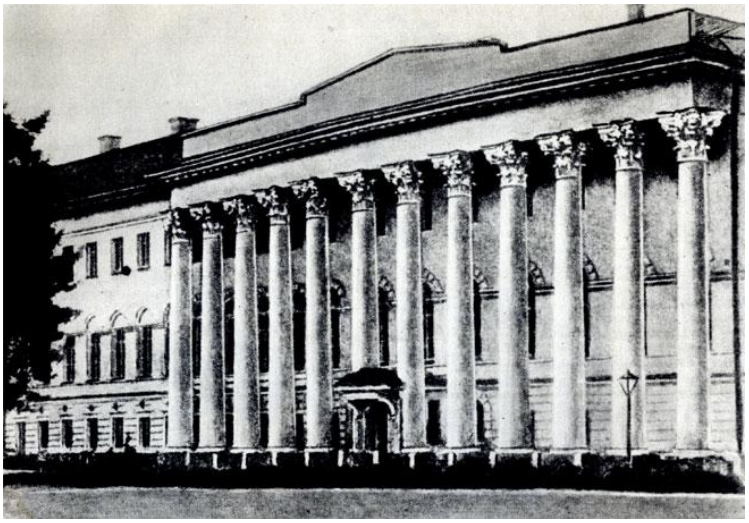
У реакционеров выступления Грановского вызвали бешеное озлобление. Шевырев и Погодин в своем «Московитянине» помещали злопыхательские статьи. Они обвиняли Грановского в симпатиях к Западу и в однобокости философских взглядов.

А Константину идеи и убеждения, которые отстаивал Грановский, глубоко импонировали. Он не видел никакого смысла в ненависти к Западу. Россия неумолимо вступала на капиталистический путь развития. Для новой же системы управления хозяйством требовалось обновление всего общества – на смену крепостническому укладу должно неизбежно в России прийти общество индустриальное, или, как его называл студент Ушинский, общество гражданское...

Курс своих публичных лекций Грановский завершил с исключительным триумфом. Когда он последний раз встретился со слушателями и поблагодарил их за внимание, все встали, многие бросились к кафедре, жали ему руки, дамы махали платками, молодые люди кричали «браво!». Впоследствии Герцен писал, что в эпоху, когда в России угнеталось всякое смелое слово, многие, видя на кафедре Грановского, воодушевлялись надеждой: «Значит, не все еще потеряно, если он произносит свою речь».

Через полгода Шевырев решил повторить в Москве публичные чтения. И стал выступать со своими лекциями о русской литературе. Но этого крепостника-«скверноуста», как о нем отзывался Белинский, слушать не захотели, его реакционные откровения звучали в полупустой аудитории.





Ушинский подолгу засиживался в университетской библиотеке. В дни, когда не было лекций, он приходил сюда с утра. На его столе лежали книги на русском, немецком и французском языках. С увлечением читал он «Землеведение» Карла Риттера. В этом огромном девятнадцатитомном труде немецкий географ связывал факты истории той или иной страны с природными условиями жизни ее народа. Но ведь изучение природных условий народа невозможно без сведений – хотя бы самых элементарных! – из области естественных наук.

Вот Ушинский торопливо складывает книги, тетради, собирается идти.
– Ты куда? – спрашивает Рехневский, сидящий за столом рядом.
– На лекцию.
– Но у нас сегодня нет лекций.
– Нет у нас, есть у медиков, – отвечал Ушинский. – Рулье на кафедре.

<...> Так занимался он, не щадя сил. С детства болезненный, подверженный простудам, он чувствовал себя в московском климате хуже, чем в более теплом Новгород-Северском. За зимние же месяцы он сильно «выдыхался», слабел, начинал кашлять, поэтому с нетерпением ждал каникул, чтобы поскорее уехать на хутор отца, где на лоне природы можно было отдохнуть и окрепнуть. Он возвращался осенью действительно окрепшим, посвежевшим. И с новым упорством брался за учение.

Последние годы пребывания в Москве внешне мало чем отличались от предыдущих – те же библиотечные залы, книги, занятия с учениками. Но работа внутренняя, духовная была наиболее насыщенной и содержательной. Его тетради этих дней испещрены выписками из книг на самые разнообразные темы – тут и «История римского права в средние века» Савиньи, «История английской революции» Дальмана, сочинения политэкономов, труды по государственному праву, географии, статистике...

Поразительны его увлеченность и работоспособность.

Считая нужным взяться за самовоспитание, он тут же составил «Рецепт» из десяти пунктов. В пункте нервом – «Спокойствие совершеннее, по крайней мере, внешнее», во втором – «Прямота в словах и поступках», затем идут – «Обдуманность действия, решительность». «Не говорить о себе без нужды ни единого слова» – пункт пятый; «Не проводить времени бессознательно» – пункт шестой, с уточнением: «Делать то, что ты хочешь, а не то, что случится». «Ни разу не хвастать ни тем, что было, ни тем, что есть, ни тем, что будет» – пункт девятый.

Все последующие многочисленные записи в дневнике свидетельствуют о непрестанном стремлении Ушинского во что бы то ни стало выполнить самому себе предписанное. «Погрешил против первого номера, разгорячился», – с досадой отмечает он. «Ошибка против пятого правила». «Соврал без нужды». «Тщеславие разгулялось, и нарушил два правила». «Врал!» Так каждодневно укоряет он себя за промахи в поведении и радуется, избегая дурных поступков, хотя и за это не склонен себя хвалить. «Кажется, я сегодня не погрешил ни против одного из моих правил, но это, должно быть, оттого, что я сегодня никого не видел, кроме моих учеников».

И постоянны раздумья о жизни – постижение сути собственного назначения на земле. Самая первая запись в дневнике – 13 ноября 1844 года – начинается так: «Приготовлять умы! Рассеивать идеи! Вот наше назначение. Мы живем не в те годы, чтобы могли действовать сами». <...> «Не будем спешить, – писал Ушинский, – побуждаемые эгоистической жаждою вкусить от плодов дел наших! Будем нести гнет, от которого избавим наших потомков... Будем трудиться над построением чудного

здания, которому внуки наши дадут свое имя, ... пренебрегая насмешками, вытерпевая гонения, жертвуя всем... отказавшись совершенно от самих себя».

Ушинский соглашался отдать всю свою жизнь потомкам, обрекая себя на безвестность, отказываясь от тщеславного желания прослыть героем, не ожидая сегодняшней награды. «Укажем разумную цель, откроем средства, расшевелим энергию – дела появятся сами». Так оформилась у него идея просветительства: «Приготовлять умы! Рассеивать идеи!»

Чем же хотел он заняться конкретно? Вновь приходит мысль посвятить себя истории. «Меня теперь совершенно занимает план, который, если я его приму, должен определить цель всей моей жизни: именно – написать историю так, как я ее понимаю».

«Но угадал ли я свое направление? – тут же спрашивает он себя. – Не леность ли только гонит меня от поприща фактической деятельности? Не сделал ли бы я для России больше здесь, нежели написав историю? Доставит ли она что-нибудь незрелому народу?».

Последняя запись в дневнике 1845 года звучит так: «Все учреждения, а следовательно, и полицейские, должны быть народными и по их направлению, и по их форме»... Таким твердым в своих убеждениях, серьезным, волевым, полным надежд на исполнение высоких помыслов и переступил он через два года после окончания университета порог Ярославского Демидовского лицея, чтобы занять в нем – двадцати трех лет от роду! – должность профессора.

5 ГЛАВА

Ярославль... Старейший город на Волге. Один из самых красивых русских городов.

Константин Дмитриевич невольно расчувствовался, когда, не доезжая до Ярославля верст за восемь, увидел его прекрасные окрестности. Но еще больше восхитил его вид города со стороны реки. Словно крепостной вал возвышался крутой берег, его прорезывали в нескольких местах лощины, выложенные булыжником – через эти взвозы-улочки вдоль всей набережной перекинуты красивые мастики. А сама набережная – уж как хороша! За деревьями бульвара виднеются передние каменные строения, над ними царят высокие колокольни церквей.

При впадении реки Которосли в Волгу на мысу белело трехэтажное здание Демидовского лицея. Оно – посреди огромной площади, а вокруг – правительственные учреждения, присутственные места. Тут же старинный собор. И памятник основателю лицея Демидову.

Павел Григорьевич Демидов – потомок известного тульского кузнеца, получившего дворянство от Петра Первого, был одним из просвещенных меценатов XVIII века. Лет пятьдесят назад этот «благодетель общественного просвещения» подарил Московскому университету естественные коллекции, научные приборы и библиотеку. Он выделил так же крупную сумму денег, чтобы открыть в Ярославле университет. Но было открыто лишь училище, которое теперь и называлось Демидовским лицеем. Как высшее учебное заведение, лицей готовил министерских чиновников. Училось в нем ежегодно по 70 – 80 студентов. Из шести кафедр две были правовые, на одну из них и прибыл Ушинский.

На первых порах ему здесь все нравилось. Парадный фасад здания – на двенадцать колонн! – выглядел солидно. И богатые экспонатами кабинеты физики и химии, коллекции по ботанике и минералогии тоже вызывали уважение. Да и преподаватели казались солидными, внушительными.

Уже в самые первые дни, еще до начала занятий, знакомясь с учебными планами, Ушинский обнаружил непонятную расстановку предметов по курсам. Энциклопедия законоведения, дающая студентам предварительные сведения, начиналась со второго курса. А ведь гораздо естественнее было видеть ее на первом курсе, чтобы студенты могли подготовиться к восприятию на следующий год основ государственного права!

Кто же сделал такое нелепое распределение?

Со своими недоумениями Ушинский явился к директору лицея.

Петр Владимирович Голохвастов доброжелательно встретил нового преподавателя. По живости характера, по заинтересованности науками он напоминал Константину Дмитриевичу директора Новгород-Северской гимназии старика Тимковского.

– Перенести энциклопедию законоведения на первый курс? – Голохвастов сразу понял, что это целесообразно. – Исправим на ближайшем совете, – сказал он.

Вот тут-то, на этом первом совете лицея, многое стало очевидным для Ушинского.

Несообразности в учебном плане допустил профессор Семеновский. Он был крайне раздосадован, что какой-то «молокосос» взялся его поучать, тем более что возразить по существу было нечего – Ушинский убедительно доказал, что изменения в учебных планах сделать необходимо. И совет лицея постановил это сделать. Однако обиженный Семеновский, да и другие старые преподаватели не скрыли своего недовольства «выскочками», приехавшими баламутить лицейскую жизнь. Ведь одновременно с Ушинским в лицее появились еще два новых преподавателя – Калиновский и Львовский.

Годами чуть старше Константина Дмитриевича, они оба были сродни ему по духу, по непримиримости ко всякой рутине – такие же энергичные, горячие. Яков Николаевич Калиновский окончил Харьковский университет, потом слушал за границей лекции по естественным наукам. В лицее он занял кафедру лесоводства и сельского хозяйства. Сильвестр Иванович Львовский, получивший образование в Московском университете, был приглашен читать политическую экономию, статистику и науку о торговле. Директор Голохвастов попросил Львовского ведать лицейской библиотекой.

Пересмотрев книги, Львовский нашел слишком бедными многие ее отделы. Ушинский ужаснулся; он предполагал, что ощутит нехватку в нужной литературе, но чтобы до такой степени? За десять лет не выписывалось ни одной книги по правовым дисциплинам, не было даже свода законов! Повинны в жалком состоянии библиотеки опять-таки старые профессора и, в частности, Семеновский – в течение двух десятилетий он был единственным преподавателем юридических наук.

Недостатки обнаружил и Калиновский. Кабинеты с наглядными пособиями были недоступны для студентов. Надо разрешить пользоваться ими всем! – предложил Калиновский. Это было уже наступление на права профессора физики и химии

Федорова и естественника Байкова – людей, крайне равнодушных к общелицейской жизни.

– Беда мне с ними, – жаловался Голохвастов. – Подмоги со стороны уважаемых старичков никакой. На вас, молодых, вся надежда.

Занятия из-за ремонта лицейского здания начались не с августа, как обычно, а в сентябре. 10 сентября 1846 года Ушинский прочитал свою первую лекцию.

– Я более всего желал бы, – обратился он к студентам, взойдя на кафедру, – чтобы мы поняли друг друга, чтобы ваше внимание еще больше согрело мою ревность и чтобы то и другое было плодом не суровой обязанности, а обоюдного нашего стремления к истине и желания быть полезными нашему обществу.

Он добавил, что не ставит своей целью забивать головы слушателей никчемными сведениями, а стремится приучать всех к самостоятельному мышлению. Когда пришло время разбирать со студентами устройство государственных и губернских учреждений, Ушинский, не желая уподобляться профессору Семеновскому, который сам засыпал на кафедре, перечитывая в десятый раз скучные конспекты, поступил иначе.

– Вот вам, друзья, мои тетрадки, – сказал он. – Выучите все, что в них есть, к экзаменам сами. Читать же это невыносимо, да все равно меня слушать не будете! А я лучше стану приходить к вам с лекциями по истории русского права. Надеюсь, это вас больше займет.

И он начал читать лекции о географическом строении России и племенах, ее населяющих. Вместо того чтобы вдалбливать сухие параграфы законов, он разъяснял идею о том, что государственное устройство каждой страны зависит от условий географической местности. Это была идея того самого немецкого географа Карла Риттера, трудами которого Ушинский увлекся в университете. Однако он не просто применил теорию Риттера к отечественной истории. Он дополнил ее существенными поправками. Ведь на развитие народа влияет не только географическая среда, не только

территория страны, но и деятельность самих людей, труд человека, который способен преображать и окружающую среду.

<...> Константин Дмитриевич был доволен тем, как складывалась его деятельность, да и деятельность других молодых лицейских преподавателей. Сбылась заветная мечта: рассеивать идеи, приготовлять умы! С увлечением брался он теперь за каждое дело, которое хоть в малейшей степени способствовало этой благородной цели. Вместе со Львовским он выработал проект правил для экзаменующихся студентов и добился разрешения пополнить лицейскую библиотеку книгами. Он обрадовался поручению совета лицея – прочитать на очередном торжественном собрании актовую речь. И с особым удовольствием приступил к научной подготовке студентов, объявив темы для сочинений на соискание золотой и серебряной медалей.

Помня, какую добрую роль в его собственном развитии играло участие профессора Редкина, Константин Дмитриевич старался быть для лицеистов таким же хорошим советчиком. Они отвечали ему за это искренним уважением. Не столь уж велика была разница в возрасте между молодым профессором и учениками – среди них встречались тоже и двадцати- и двадцатидвухлетние! Но недосягаемо высок был авторитет Ушинского как преподавателя...

...Директор Голохвастов был тоже доволен. Два года назад на него сыпались неприятности из-за плохой работы лицея. Министр просвещения Уваров намеревался отстранить Петра Владимировича от директорства. Спасло лишь заступничество попечителя Московского учебного округа. И вот с приходом молодых профессоров положение в лицее заметно выправлялось – преподавание улучшилось, увеличился приток студентов, молодые преподаватели радовали Голохвастова своей энергией. Калиновский сдал магистерский экзамен – Голохвастов от души поздравил его на общелицейском собрании, утвердил в должности профессора. А невыносимый Семеновский наконец ушел в отставку, и группа молодых пополнилась: на место Семеновского явился только что окончивший Московский университет ровесник Ушинского, такой же энергичный и деятельный, – Василий Иванович Татаринов.

Однако недоброжелатели Голохвастова не унимались. Летом в соседней Костроме заполыхали пожары-поджоги. Появились зловещие записки с угрозами о поджогах и в Ярославле. Одна из них прямо указывала, будто эти поджоги дело рук студентов Демидовского лицея. Понаехали следователи, начались допросы. Подозрения, в конце концов, отпали. Но кому-то, выходит, опять не терпелось бросить тень на Голохвастова. И не только на него, а на все дело народного просвещения в губернии. Ведь директор лицея по существующему положению одновременно ведал всеми губернскими учебными заведениями. К этим своим обязанностям Петр Владимирович относился исключительно добросовестно...

Живя в Ярославле, Константин Дмитриевич воочию видел, что русское общество вступает в новую полосу хозяйственной жизни. Ярославль развивался как торговый и промышленный центр. Здесь была первая полотняная фабрика и одна из первых типографий. С середины XVIII века существовал театр. Ко времени приезда Ушинского этот город на Волге – среди городов севера России, таких как Тверь, Нижний Новгород, Владимир, Кострома, – занимал первое место и по числу жителей и по активности купцов и заводчиков: жило в нем около тридцати тысяч человек, имелось 55 предприятий, вверх и вниз Волгой проходило за год до четырех тысяч судов, свыше тысячи из них грузилось или разгружалось на ярославской пристани.

Образованные люди России повсеместно изучали родную страну, стремились знакомить с ней своих соотечественников. Были любители-краеведы и в Ярославле – они собирали данные о своем крае, вели метеорологические наблюдения, изучали древние манускрипты. Была здесь и своя литературная среда.

<...> Константин Дмитриевич вполне разделял желание ярославцев сделать духовную жизнь своего города более интересной. Однажды он пришел к Голохвастову.

– Петр Владимирович, вы не будете возражать, если я возьмусь за одно важное дело.

– За что именно? – поинтересовался Голохвастов.

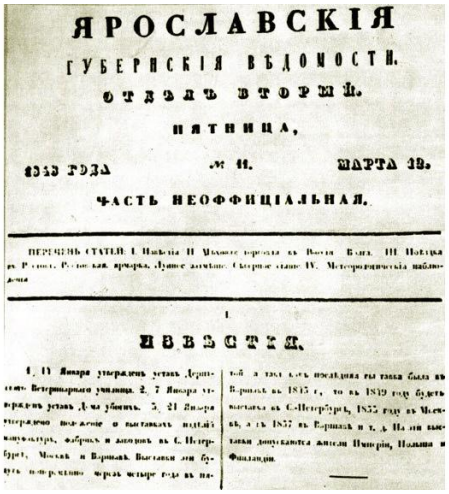
– За редактирование «Губернских ведомостей».

– Вам предлагают редактировать «Губернские ведомости»? – удивился директор.

– Нет, — ответил Ушинский. – Я сам хочу предложить свои услуги в качестве редактора неофициальной части. Поймите меня правильно...

И он объяснил Голохвастову, что усилиям ярославцев – развивать свой край – никак не соответствует характер местной газеты. Выпускались эти «Ведомости» небольшим размером всего один раз в неделю и заполнялись официальными предписаниями да казенными объявлениями о сыске преступников. Так называемая неофициальная часть, которую разрешалось делать из известий, способствующих торговле и хозяйству, вообще отсутствовала. Перелистывая в лицейской библиотеке старые комплекты «Ведомостей» – а они стали выходить в Ярославле лет за 15 до приезда Ушинского, – Константин Дмитриевич нашел, что раньше нет-нет, но все-таки появлялись оригинальные содержательные статьи. Теперь же ничего! Вот он и хочет возобновить неофициальную часть, чтобы оживить «Губернские ведомости». Он бы уже давно предпринял это, да отвлекала подготовка к лекциям, а теперь стало полегче, вот и решил... Конечно, без всякого ущерба для лицейских обязанностей, уверил он директора.

– Я понимаю, – сказал Голохвастов и, подумав, согласился. – Дело действительно важное. Попробуйте.

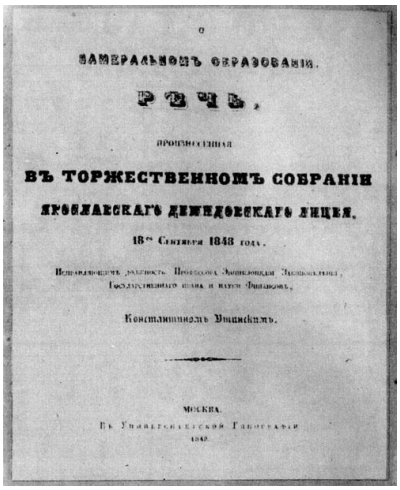

ЯРОСЛАВСКІЯ
ГУБЕРНСКІЯ ВѢДОМОСТИ.
ОТДѢЛЪ ВТОРЫЙ.
ПЯТНИЦА,
1853 ГОДА № 11. МАРТА 13.
ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

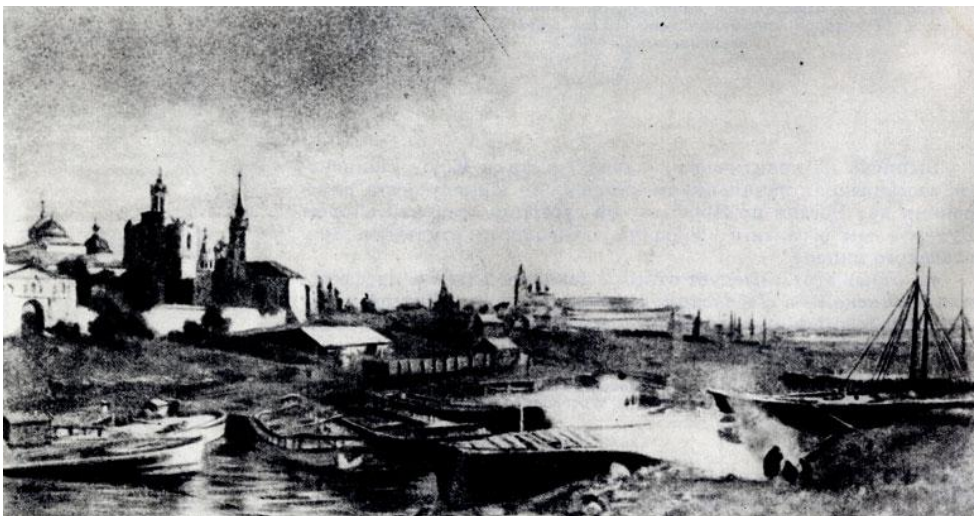
ПЕРЕЧЕНЬ СТАТЕЙ. I. Извѣстія. II. Объявленіе городской ратуши. III. Новости изъ Россіи. Ростовская ярмарка. Лучшее лечение. Скорое спасение. IV. Метеорологическія наблюденія.

I

ИЗВѢСТІЯ.

1, 19 Января утвержденъ уставъ Дерптскаго Ветеринарнаго училища. 2, 7 Января утвержденъ уставъ Дома убежищъ. 3, 21 Января утверждено положеніе о выставкахъ изданій мануфактуръ, фабрикъ и заводовъ въ С. Петербургѣ, Москвѣ и Варшавѣ. Выставки эти будутъ повторяемо черезъ четыре года въ Петербургѣ а такъ какъ послѣдняя выставка была въ Варшавѣ въ 1845 г., то въ 1849 году будетъ выставка въ С.-Петербургѣ, 1853 году въ Москвѣ, а въ 1857 въ Варшавѣ и т. д. На эти выставки допускаются жители Имперіи, Польши и Финляндіи.


О
КАМЕРАЛЬНОМЪ ОБРАЗОВАНІИ.
РѢЧЬ,
произнесенная
ВЪ ТОРЖЕСТВЕННОМЪ СОБРАНІИ
ЯРОСЛАВСКАГО ДЕМИДОВСКАГО ЛИЦЕЯ,
18-го Сентября 1848 года.
Исполняющимъ должность Профессора Законовѣдѣнія Экономическаго, Государственнаго права и наукъ Финансовъ,
Константиномъ Ушинскимъ.
МОСКВА.
Въ Университетской Типографіи
1848.



Ушинский жил на Стрелецкой улице. В глубине двора в длинном деревянном здании помещалась кондитерская Юрцовского. Оттуда всегда вкусно пахло сдобным тестом, ванилью. А на улицу по обеим сторонам от красивых ворот со столбами из белого камня выходили два флигеля с мезонинами. В одном из них и снимал квартиру Константин Дмитриевич.

Он ходил в лицей, пересекая Семеновскую площадь, по бульвару и набережной, а в ненастную погоду добирался до Ильинской площади улицами, где меньше грязи. Здесь, в доме губернского правления, помещался и газетный отдел с типографией. Начальник типографии, корректор, тринадцать писцов и четыре наборщика – вот и весь издательский штат. <...>

5 марта 1848 года жители Ярославля, читающие «Губернские ведомости», были приятно поражены: десятый номер вышел в небывалом объеме – на 16 страницах. Для частных объявлений не хватило места, они были передвинуты в официальную часть, вся же неофициальная оказалась заполненной статьями, дающими любопытные сведения: об уставе пароходного общества, о пароходе без пара, о доме призрения бедных граждан в Вологде и об исторических фактах, связанных с местным краем. В самом конце печатались метеорологические наблюдения, произведенные в Ярославле за истекшую неделю.

Делать газету было нелегко – Ушинский искал авторов среди любителей-краеведов, привлекал и друзей – Татаринова, Калиновского, но большинство материалов пришлось готовить самому; иногда он подписывал их буквой Р – редактор.

Самую первую свою статью он посвятил Волге. Это торжественная песня о красоте и мощи великой русской реки, о ее значении в истории нашего народа.

Пишет Ушинский на самые разные темы. Чтобы рассказать о ростовской ярмарке, он едет в Ростов Великий. На обратном пути наблюдает лунное затмение – описывает и его. А потом и другие природные явления – раннюю жару, грозу в мае, разлив Волги.

Обновленные, отмеченные живостью изложения, «Ведомости» сразу привлекли читающую публику. <...>

Константин Дмитриевич произнес на лицейском годичном торжестве «Речь о камеральном образовании».

В России была распространена система образования чиновников для государственных учреждений, которая носила название камералистики. Эта камералистика была издавна заимствована из Германии и считалась официально признанной. Она объединяла самые разные науки: историю, географию, юриспруденцию, сельское хозяйство, финансы, статистику.

Тщательно изучив ее принципы, Ушинский пришел к выводу, что этот метод образования безнадежно устарел. <...>

Совет лицея направил текст речи «О камеральном образовании» в типографию Московского университета. Там она была размножена в количестве двухсот экземпляров, затем совет лицея разослал ее по многим адресам. <...>

В день произнесения речи Константин Дмитриевич рекомендовал совету лицея двух студентов, которые по его заданию писали сочинение о преобразованиях Петра Первого. Оба студента привлекли богатые факты и оказались достойны награды. Жребий решил, что золотая медаль досталась Алексею Потехину. Потехин сразу взялся за новую тему — «Опека и попечительство». Константин Дмитриевич с интересом следил за его работой, читал рукопись, делал на полях карандашом пометки. <...>

Зимние лицейские каникулы Ушинский провел с Татариновым и Львовским в Москве: снова беседы с университетскими знакомыми, библиотечные залы, «Великобритания». <...>

9 февраля совет лицея собрался для обсуждения вопроса о так называемой «шнуровой книге». Инструкцией из министерства предписывалось завести в лицее шнуровую книгу. В ней каждый преподаватель был обязан собственноручно делать отметку – «чем именно он занимает студентов в назначенные часы».

Цель нововведения была сформулирована протокольно четко: «Ежедневные отметки господ профессоров и преподавателей могут способствовать наблюдению г. директора за правильным ходом преподавания».

Это был еще один шаг на пути усиления жесткого контроля за каждым произносимым с кафедры словом.

И Ушинский возмутился. Он встал и сказал:

– Господа, я ничего не понимаю. Как можно такими формальностями связывать педагогическое дело? Да разве в состоянии преподаватель заранее определить, какое понятие ему придется выяснять со слушателями? Я должен видеть перед собой аудиторию, ощущать ее дыхание. А делить курс на часы и минуты... Это же значит убивать живое дело преподавания! Ни один честный преподаватель никогда не решится на подобное убийство!

Страстные слова Константина Дмитриевича не возымели действия. Совет постановил: шнуровую книгу завести! <...>

В день очередного торжественного собрания лицея, 12 июня, когда актовую речь произнес Калиновский, директор Тиличеев призвал Ушинского и Львовского к себе в кабинет.

– Так вот, милостивые государи, – начал он холодно и объявил без обиняков: – Ваше дальнейшее пребывание в лицее нежелательно. Прошу подать рапорт об уходе по причине... Ну, сие на ваше усмотрение. Болезнь... Или что-либо еще этакое.

Львовский сел за стол и тут же написал заявление, ссылаясь на болезненное состояние здоровья. А Константин Дмитриевич поинтересовался: может ли он получить хоть месячную отсрочку, пока подыщет себе работу в Петербурге.

– Да, – разрешил Тиличеев. – Ищите.

Через несколько дней директор ушел в отпуск, однако успел послать в Московский учебный округ прошение – утвердить Ушинского в чине коллежского секретаря.

Такой чин Константин Дмитриевич мог получить по окончании университета. Но тогда в этом не было необходимости – назначение его в лицей на должность профессора соответствовало более высокому званию – чину 8-го класса, согласно ступеням чиновничьей лестницы, какая насчитывала 14 классов. Готовя теперь увольнение Ушинского, начальство «заботилось» утвердить его в соответствии с университетским образованием в чине 10-го класса. В сентябре он и был произведен в коллежские секретари.

В планах нового учебного года его фамилия еще стояла в списке читающих лекции. Но на кафедру перед студентами он больше не поднимался. 21 сентября ему был оформлен отпуск на один месяц. На следующий же день лицейское начальство запросило Московский учебный округ о присылке нового преподавателя. <...>

6 ГЛАВА

Что же теперь делать?

Почти три месяца Константин Дмитриевич жил в Петербурге без работы. Он приехал в столицу с надеждой найти здесь службу по душе.

– Можно к вам, Константин Дмитриевич?

На пороге – Алексей Потехин, ученик-ярославец, блестяще окончивший весной Ярославский лицей с серебряной медалью.

Через несколько лет он, автор многих романов и пьес, станет популярным в России писателем. Но через несколько лет станет известным всей образованной России и имя Ушинского. В тот же ноябрьский вечер 1849 года, когда двадцатилетний Потехин разыскал в Питере своего бывшего преподавателя, желая выразить ему уважение и сочувствие, каждый из них говорил о будущем, не зная толком, что его ждет впереди.

Визит Потехина заставил еще острее ощутить утрату любимой преподавательской работы! И словно спохватившись перед опасностью пассивно предаваться отчаянью, Ушинский берет себя в руки: «Да не будет так! Если я не вооружусь твердой волей, то погибну посреди этих обломков, сделавшись пустым человеком, тем более жалким, что воспоминания никогда не оставят меня».

Он идет к профессору Редкину.

Профессор Редкин, уволенный из Московского университета, нашел пристанище на чиновничьей работе.

– Не будем строить иллюзий, дорогой коллега, – сказал Редкин, – сейчас не время честным педагогам. А в душе я остаюсь педагогом. Заметьте, не юриспруденция, но именно педагогика отныне цель моей жизни.

– А меня влечет журналистика, – отвечал Константин Дмитриевич.

– Прекрасно! – воскликнул Редкин. – Должность чиновничья малопривлекательна, четыреста рублей в год – плата мизерная для образованного человека. Зато вы будете иметь предостаточно времени для своей журналистики. Соглашайтесь!

19 декабря в понедельник, ровно через три месяца после ухода из Ярославского лицея, Константин Дмитриевич вступил под своды департамента духовных дел инославных вероисповеданий, чтобы занять место младшего помощника столоначальника. В тот же день он записал в дневнике:

«За дело! за дело! Чтобы не разбивать сил своих, я решительно займусь только одной статьёй для Географического общества. Сегодня непременно к Милютину за книгами и, если достану записку, сегодня же и к Шварцу, если же нет – то зайду хоть в публичную библиотеку. Снова – самое строгое наблюдение над собой, над своим характером и способностями».

И дальше – как своеобразная клятва самому себе – фраза, которую хочется выделить особо:

«Сделать как можно более пользы моему отечеству – вот единственная цель моей жизни, и к ней-то я должен направлять все свои способности».

...Он исправно ходит в департамент, составляет требуемые бумаги, иногда даже берет казённые папки домой, работая внеурочно, лишь бы высвободить часы для журналистской деятельности.

Общение с друзьями было для него всегда условием истинного счастья. А где сейчас университетские товарищи? Где лицейские единомышленники?

Всем существом рвался Ушинский из каменного мешка-города к любимой природе, к свежей сельской жизни. Он с радостью принимает предложение начальства – поехать в длительную командировку, и в течение девяти месяцев изучает в Черниговской губернии сектантские группы.

Он гостит в это время у отца, бродит по окрестностям Новгород-Северского, встречается с детством. Уже нет на прежнем месте дряхлой гимназии с башенкой. Построено новое здание – каменное, двухэтажное. И не осталось в гимназии ни одного из прежних учителей, за десять лет сменились все... Тихо доживал в Турановке свой век Тимковский – через год придёт весть о его кончине. Не увидел Ушинский никого из тех, с кем кончал гимназию. Друг детства Михаил Чалый учительствует в Киеве...

Совершая прогулку, он встретил на полевой тропинке девушку. Надя? Неужели Надя Дорошенко – девочка с хутора Богданки? Он увидел её впервые более десяти лет назад, тогда ей было всего одиннадцать. Как же она изменилась!

С этого мгновения они почти не расставались.

Рукой Ушинского в альбом Нади Дорошенко записаны строчки:

Нам разный путь судьбой назначен строгой.
Вступивши в жизнь, мы быстро разошлись.
Но невзначай просёлочной дорогой
Мы встретились и братски обнялись.

Он посвятил ей не только это стихотворение. И, в конце концов, поверх одного, помеченного 15 сентября 1851 года, Надежда Семёновна написала: «Я согласна». Так вошла в его жизнь добрая, любящая женщина, подарившая ему уют семейного очага и разделившая с ним радости и горести почти двух десятилетий – до конца его дней...

Он начал сотрудничать со многими петербургскими журналами. В круг людей, выпускающих «Географический вестник», его ввёл товарищ по университету Владимир Милютин, среди пишущей братии обнаружился другой университетский приятель – Юлий Рехневский; с издателями «Современника» познакомил профессор Редкин. А к редактору «Библиотеки для чтения» Старчевскому Ушинский явился сам.

В журнале «Современник» Ушинский опубликовал путевой очерк «Поездка за Волхов». Очерк понравился читателям, высокую оценку ему дал Иван Сергеевич Тургенев. Это вдохновило. А тут ещё радость семейная – родился первенец, сын Павел, Пашута.

Ушинский много и споро работает, из-под пера его одна за другой выходят статьи, рецензии, переводные повести – к этому моменту он владел уже не только немецким, но и английским и французским языками. В «Современнике» он ведёт постоянный отдел «Иностранных известий», в «Географическом вестнике» делает обозрения иностранных географических журналов, в «Библиотеке для чтения» переводит романы Диккенса и Теккерея, составляет «Заметки путешествующего вокруг света».

Но хотелось уже не литературного ремесленничества ради заработка – хотелось по-настоящему серьёзных научных изысканий. Ушинский предлагал редакторам статьи на темы самые разные – исторические, юридические, литературные, – но далеко не все из них появлялись на страницах журналов. И постепенно подкрадывалось недовольство изнуряющей подёнщиной, появлялась усталость.

– Уедем отсюда, – звала Надежда Семёновна. – Будем жить в Богданке, окрестности новгород-северские, тобой любимые...

– Подождём, – возражал Константин Дмитриевич. Как раз в это время он попал под сокращение штатов в департаменте, и уехать куда угодно было несложно, но в столице он всё-таки мог – хотя бы в такой форме! – продолжать журнальную, просветительскую деятельность. А разве не цель его жизни – приносить как можно больше пользы отечеству?

– Подождём, – уговаривал он жену, будто надеялся на счастливый случай.

И случай представился. Однажды на улице Константин Дмитриевич встретил Голохвастова:

– Пётр Владимирович!

– Ушинский? Какими судьбами?

Бывший директор Ярославского лицея за пять лет почти не изменился – такой же громогласный, жизнерадостный. Обнялись как старые знакомые, закидали друг друга вопросами. Голохвастов после Ярославля долго был не у дел, но вот снова «всплыл» на высокий пост – назначен недавно директором Гатчинского сиротского института.

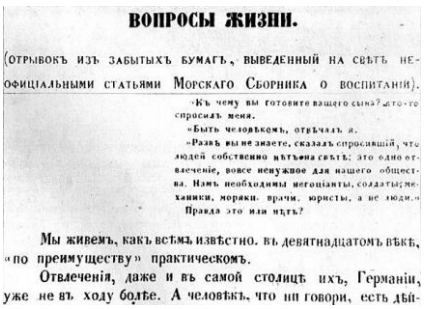
– Кстати, у нас есть вакантное место учителя русской словесности, не желаете? – с ходу предложил он Ушинскому.

Константин Дмитриевич ответил не колеблясь:

– С удовольствием!

Мог ли он думать, что это решение перевернёт всю его жизнь? Он лишь возвращал себя к желанной преподавательской работе. Да и то без большой уверенности в том, что Голохвастову удастся закрепить вакансию именно за ним. Ведь Гатчинский сиротский институт был привилегированным учебным заведением – он находился под присмотром самой императрицы. Полвека назад была создана в Гатчине начальная школа для дворянских детей-сирот. Она превратилась в среднее учебное заведение с юридическим направлением, притом весьма солидное: если в Ярославском лицее училось всего сто человек, то в Гатчинском институте учащихся было свыше шести сотен. Правда, дела здесь, как обрисовал Голохвастов, шли крайне плохо – учебная работа разваливалась, почти четыреста учащихся ежегодно оставались на второй год.

Но Голохвастов потому и пригласил Ушинского, что знал его организаторские способности, и сумел доказать, что Ушинский – самый подходящий притязатель не только на место учителя, но и на должность инспектора классов. По службе в департаменте Ушинского знал почётный опекун Гатчинского института Ланской. Так что довольно скоро Константин Дмитриевич был утверждён в должности. Переехав с семьёй в Гатчину, он с головой окунулся в институтские дела. И старания его не замедлили сказаться – уже через год число учеников, оставленных на повторный курс, уменьшилось вдвое, сократился и отсев учащихся.



ВОПРОСЫ ЖИЗНИ.

(Отрывокъ изъ забытыхъ бумагъ, выведенный на свѣтъ неофиціальными статьями Морскаго Сборника о воспитаніи).

«Къ чему вы готовите вашего сына? кто-то спросилъ меня.

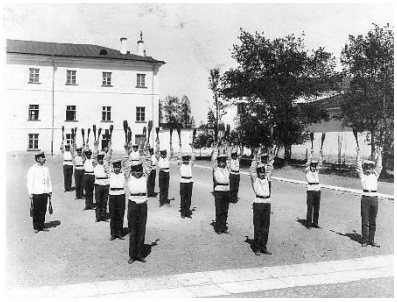
«Быть человѣкомъ, отвѣчалъ я.

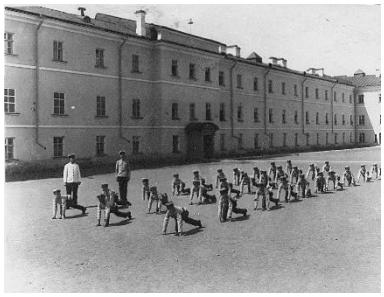
«Развѣ вы не знаете, сказалъ спросившій, что людей собственно нѣтъ въ свѣтѣ: это одно отвлеченіе, вовсе ненужное для нашего общества. Намъ необходимы негоціанты, солдаты, механики, моряки, врачи, юристы, а не люди.»

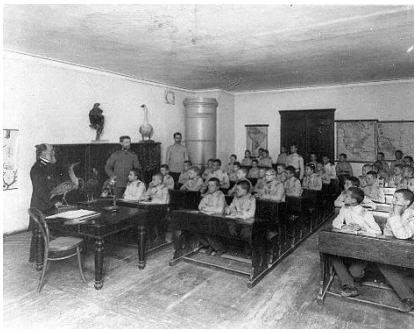
Правда это или нѣтъ?

Мы живемъ, какъ всѣмъ извѣстно, въ девятнадцатомъ вѣкѣ, «по преимуществу» практическомъ.

Отвлеченія, даже и въ самой столицѣ ихъ, Германіи, уже не въ ходу болѣе. А человѣкъ, что ни говори, есть дѣй-







Ушинский продолжал наводить в институте порядок.

Потребовался новый преподаватель. Константин Дмитриевич предложил взять Юлия Рехневского. Голохвастов замялся.

– Но я ручаюсь за его деловитость, – сказал Ушинский.

– Не в том суть, – ответил Голохвастов. – Он ведь поляк. Боюсь, что господин почётный опекун...

– Разрешите мне самому поговорить с господином опекуном?

– Пожалуйста. Только смотрите – Сергей Степанович человек неровный…

– Вы смелый человек, – сказал Голохвастов, когда Ушинский принёс ему резолюцию Ланского.

– Ради дела приходится идти на риск, – засмеялся Ушинский. – А то мы все видим прямую дорогу, но каждый ли из нас может похвалиться, что никогда не сворачивал с неё?

– Дай вам Бог всегда идти прямо, – вздохнул Голохвастов. – Вы ещё молоды. Да и времена меняются. Кажется, дождались и мы новых веяний. Слышали? В Москве в Дворянском собрании сам император объявил: позорное для России крепостничество надобно отменить.

– Он признался, что лучше освободить крестьян сверху, пока они не начнут освобождать себя снизу, – иронически заметил Ушинский. – Впрочем, при любой

мотивации намерение это для России нужное. Гражданское общество не способно развиваться без свободных людей. И надо хорошо просвещать народ, чтобы он умел хозяйствовать. А мы? Разве мы умеем учить? Помните, в Ярославле вы с первых классов гимназии ввели географию и историю России? Вот так же знакомить с родной страной и учить родному языку надо повсеместно. А у нас? Бьёмся, бьёмся...

– Кое-что всё же делаем, – попытался утешить Голохвастов.

– Мало! – воскликнул Ушинский. – Ничтожные крохи. Всё не то!

Он проводил в институте конференции учителей, следил за ходом уроков, упорядочивая преподавание русского языка, но всё это ему казалось незначительным и недостаточным по сравнению с теми проблемами воспитания, которые ставила жизнь. И, по-прежнему сотрудничая в журнале «Библиотека для чтения», готовя статьи на разные темы, он с каждым днём всё сильнее и сильнее увлекался своим делом.

И однажды... Зайдя в институтскую библиотеку, он заметил в тёмном углу два запылённых, наглухо запертых, запечатанных шкафа.

– Что в них? – поинтересовался он.

– Не знаю, – пожал плечами библиотекарь. – Когда я пришёл сюда, они так и стояли. Говорят, какой-то хлам. Наследство Гугеля, что ли. Ну, того сумасшедшего...

– Гугеля? – изумился Ушинский. – Откройте!

Шкафы вскрыли. Константин Дмитриевич рванулся к полкам. Толстые фолианты в кожаных переплётах. На русском языке и на иностранных – из Варшавы, Берлина, Парижа. Произведения мыслителей XVIII и начала XIX века. Жан-Жак Руссо, Ян Амос Коменский, Дистервег, Кернер, Генрих Песталоцци.

Константин Дмитриевич тут же, придвинув кресло к ближайшему окну, принялся перелистывать книгу за книгой. Многие страницы в них были испещрены пометками – рукой человека, который действительно окончил свой короткий путь в сумасшедшем доме.

Это был Егор Осипович Гугель, работавший здесь, в Гатчинском институте, лет за двадцать до Ушинского. Когда Ушинский только начинал ходить в гимназию, Гугель издавал первый в России «Педагогический журнал», писал учебники. При Гатчинском институте он организовал школу для малолетних воспитанников, проявив замечательное знание детской психологии. Но, затеяв столь интересную работу, он оказался, как видно, тоже не ко двору, не ко времени в той российской действительности. Его идеи не нашли никакого отзвука у современников, и сам он сгинул, бредя детьми и школой... Тогда и заколотили да задвинули подальше в тёмный угол эти шкафы с бесполезными книгами.

Ушинский ушёл домой и засел за книги основательно. Читал с утра до вечера и ночами, делал выписки. Надежда Семёновна беспокоилась: «Отдохни». Он отмахивался.

– Как мне жалко его! – восклицал он, снова вспоминая о Гугеле. – Этот бедняга-мечтатель был едва ли не первый русский педагог, серьёзно взглянувший на дело воспитания! Но теперь-то у нас должны ценить педагогические идеи? – спрашивал он и отвечал сам себе: – Да, должны!

Он делился своими мыслями с Голохвастовым, Рехневским и Редкиным, которого навещал всякий раз, когда прибывал из Гатчины в Петербург. Но ближе всех сошёлся он с Яковом Павловичем Пугачевским, учителем физики, работавшим в Гатчинском институте ещё до его прихода… Был Пугачевский всегда спокойным, сдержанным,

весьма практическим в любых делах. Сдружились и жёны, часто теперь семьи проводили вместе зимние вечера.

Возбуждённо шагая по комнате, Константин Дмитриевич говорил:

– Нет, вы подумайте, подумайте, как мы учим? Русскую грамоту постигаем по складам, механически. Учить берётся любой отставной солдат, а уж какой-нибудь дьяк и вовсе у нас отменный грамотей. Упражняемся в беглом чтении священной истории, не то зубрим часослов и святцы. Историю же родной страны знаем отвратительно, географию и того хуже. Полное невежество, беспросветная неграмотность! Может ли так продолжаться дальше? Нет! Вот увидите, потребность в настоящих педагогах скоро даст о себе знать!

Через несколько дней он вбежал к Пугачевскому торжествующий, размахивая журналом «Морской сборник»:

– Яков Павлович! Полюбуйтесь! Что я говорил! «Вопросы жизни», статья Пирогова! Первая ласточка на небосводе нашего образования! Светлый ум, великие мысли!

Он восторгался статьёй известного хирурга Пирогова, который в журнале, далёком от педагогических тем, впервые в России заговорил о непоправимом вреде, который приносит обществу распространённый обычай готовить юношество с детских лет к определённой специальности без заботы о всестороннем развитии личности. А прежде-то всего надобно воспитывать человека! – говорил Пирогов. «Ищи и будь человеком» – этот его призыв взбудоражил всё русское общество – статью читали и в великосветских залах, и в бедных квартирах, и в студенческих аудиториях, и в офицерских клубах...

Много лет спустя редактор журнала «Библиотека для чтения» Старчевский напишет об Ушинском воспоминания. Он расскажет в них, как явился к нему взволнованный Ушинский со словами:

– Ах, Альберт Викентьевич, что вы со мной сделали! Зачем прислали статью об американском воспитании! Я не мог спать несколько ночей. Эта статья произвела переворот в моей голове, в моих убеждениях. Не знаю, что со мной будет, но с этого дня я решился посвятить себя исключительно педагогическим вопросам.

Можно, конечно, понять Старчевского: когда он писал мемуары – через пятнадцать лет после смерти Ушинского, – очень хотелось ему выставить себя вдохновителем великого русского педагога, которому именно он, Старчевский, вручил столь важную статью.

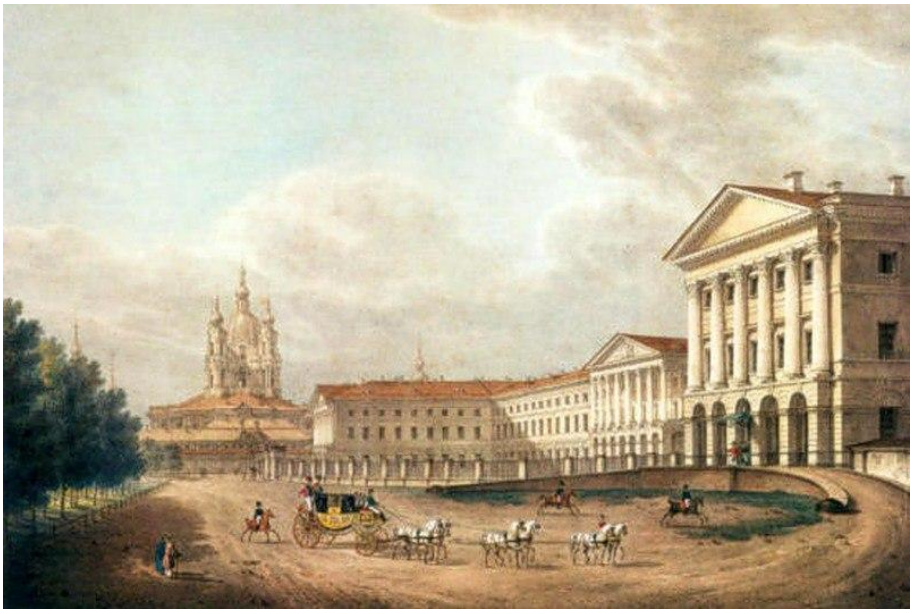
Но нет! Великим педагогом Ушинского сделала не эта статья из английского журнала «Атенеум». И даже не статья Пирогова. И даже не все вместе собранные Гугелем книги, про которые сам Ушинский писал: «Этим двум шкафам я обязан в своей жизни очень многим... От скольких бы грубых ошибок был избавлен я, если бы познакомился с этими двумя шкафами прежде, чем вступил на педагогическое поприще».

Великим педагогом Ушинского сделало само время.

К этому он был подготовлен всей предыдущей своей жизнью. Не одна и не две, пусть даже самые расчудесные статьи, не десятки и даже сотни с увлечением прочитанных книг родили Ушинского-педагога, а всё, вместе взятое, – всё, чем полнилась до сих пор его голова, – энциклопедические знания по истории, географии, естествознанию, философии, юриспруденции и литературе, все мысли, возникшие в

результате преподавательской деятельности в Ярославле и Гатчине, раздумья о судьбах русского народа, о его прошлом и будущем, короче, всё, чем жил он, этот человек, с юности поставивший перед собой заветную благородную цель — сослужить пользу родному отечеству! — всё это обернулось в конце концов ослепительным гениальным прозрением.

Не сразу, не вмиг. А на протяжении немалого срока, ибо вся его дальнейшая жизнь стала непрерывным подвигом неутомимых раздумий, поисков и воплощения творческих замыслов. Так родились его сочинения, снискавшие славу русской педагогике.



«Поток статей из-под пера Ушинского хлынул уже в конце 1856 года. Первой была статья "О пользе педагогической литературы".

"Всякий прочный успех общества в деле воспитания необходимо опирается на педагогическую литературу, – писал Ушинский. – В России её нет. Но она должна быть!" – делает он вывод.

– Поздравляю, Константин Дмитриевич, – обрадовался профессор Редкин, прочитав эту статью. – Вот вы и влились в нашу педагогическую дружину. Вам и карты в руки – создайте педагогическую литературу!

Сообща мечтали они о специальном печатном органе и уговаривали учителя Чумикова выпускать "Журнал для воспитания". Такой журнал начал выходить в Петербурге с 1857 года, и в первом же его номере Ушинский опубликовал свою статью, а затем вторую, третью, пятую! Его имя приобретало известность – не только среди учителей, но и во всём образованном мире России. И когда в Петербурге по инициативе профессора Редкина было создано Педагогическое общество, одним из первых, ведущих его членов оказался Константин Дмитриевич Ушинский.

"Мы плохо учим! Плохо учим!" — эта мысль продолжала угнетать постоянно, назойливо. И он упорно экспериментировал в классах, улучшая методы преподавания. И садился за письменный стол, чтобы набросать план детской книжки.

"Нужна особая книга, – объяснял он друзьям. – Такая книга, чтобы десятилетний ученик мог, читая её, рассказывать содержание, а учитель сопровождать чтение толкованием, доступным для ребёнка».

Какое же содержание вложить в эту книгу? Факты древней истории? Описание путешествий? Произведения искусства? Нет! Прежде всего – факты окружающей жизни! Всё, что ребенку близко и знакомо.

"Не с курьёзами и диковинками науки надо знакомить ученика, а приучать находить занимательное в том, что его окружает. Детский мир. Да, вот и название для моей книги".

Он начинает писать книгу "Детский мир".

В соседней комнате – визг, смех, возня. Прибавилось семейство – растут ещё две девочки: Вера и Надюша. А Павлу уже шестой год. Присматриваясь к детям, особенно к старшему сыну, любознательному смышлёному мальчику, Константин Дмитриевич в их поведении тоже искал ответы на свои вопросы. И тоже экспериментировал, проверял: то прочитает рассказ про железо-магнит, а потом выясняет, что в нём малышам не ясно, то сочинит сказочку про слепую лошадь и заинтересуется, почему её жалко?

Донёсся голос жены – она разговаривала с младшей дочерью. Но как? Умилительная интонация – сплошное "сю-сю". Константин Дмитриевич вышел из кабинета:

– Перестань лепетать с ней как с маленькой.

– Но она и есть маленькая, – возразила Надежда Семёновна.

– Детский лепет занимателен для нас с тобой, – сказал Константин Дмитриевич, – детей же следует приобщать к нормальному, человеческому языку.

Он вернулся к столу, невольно подумав: ведь и книгу следует писать так же – простым языком, избегая непонятных слов, но отнюдь не подделываясь под ребячий способ выражения.

Он просидел над рукописью опять до глубокой ночи – работал, не жалея себя, будто предчувствуя, что мало времени отпущено на творческие замыслы.

35 лет... А сколько впереди?

Ведь главное-то дело жизни едва начато!

7 ГЛАВА

По давно заведённой традиции правящая императрица покровительствовала учебным заведениям. Посетила Гатчинский институт и жена всероссийского самодержца Мария Александровна. Приобретающий славу инспектор классов – по возрасту ей ровесник – вызвал у государыни любопытство. Занятия Ушинского в институте возбудили в ней и деловой интерес – ей хотелось услышать от входящего в славу умного педагога практические советы: как лучше воспитывать наследника русского престола? Совершая прогулку по Гатчинскому парку, она приглашала для беседы Ушинского. Неторопливо двигаясь по аллеям, внимательно слушала она его наставления, изучающе посматривая большими, слегка навыкате, светлыми глазами. На лице её не было видно признаков оживления или душевных порывов, но доброжелательная ровность обращения заставила Ушинского поверить, что

увлечённость, с какой он излагал свои взгляды, не пропадёт даром. Он смело выкладывал перед императрицей всё, что думал о воспитании характера будущего правителя Российского государства.

– Слова "неограниченная монархия" вовсе не означают, что неограниченный монарх может делать, что ему угодно... Закон обязателен для него точно так же, как и для подданных.

Константин Дмитриевич закрепит потом эти высказывания в письмах о воспитании наследника, которые императрица попросит его написать. Он напишет их не как смиренный придворный, а как мужественный гражданин.

"Нужно, чтобы будущий государь сочувствовал всевозрастающим требованиям улучшений. Заставить их умолкнуть на время, конечно, можно, но это значит гноить государство и народ"…

А чем же привлекла императрицу его горячая проповедь? Нашла ли коронованная собеседница в его идеях что-то и вправду соблазнительное для себя? Или просто, разгуливая по Гатчинскому парку, она решила продемонстрировать участливое отношение к подданному?.. Во всяком случае, она выразила желание, чтобы Ушинский не только писал письма о воспитании наследника, но и проявил свои способности на более широкой арене педагогической деятельности.

В 1858 году освободилось место в Смольном институте благородных девиц – скончался много лет проработавший там старый инспектор классов. Возник вопрос, кем его заменить. И вот императрица объявила свою высочайшую волю: Ушинский стал инспектором самого привилегированного в России женского учебного заведения.

Смольный институт, именуемый в просторечии Смольным монастырём, подавлял своей неприступностью. Обширная его территория, занятая разного рода строениями, была огорожена глухими и высокими, поистине монастырскими стенами. Величественно, сурово выглядело и главное здание. Важный швейцар в красной ливрее встречал у входа будто символ непоколебимых здешних устоев. А устои были с вековой традицией.

Учреждая в 1764 году это заведение, императрица Екатерина Вторая уже тогда совершенно чётко определила его цель: благородные девицы должны воспитываться как будущие "дворянские матери" основательными правилами так, чтобы из века в век "улучшалась порода дворян".

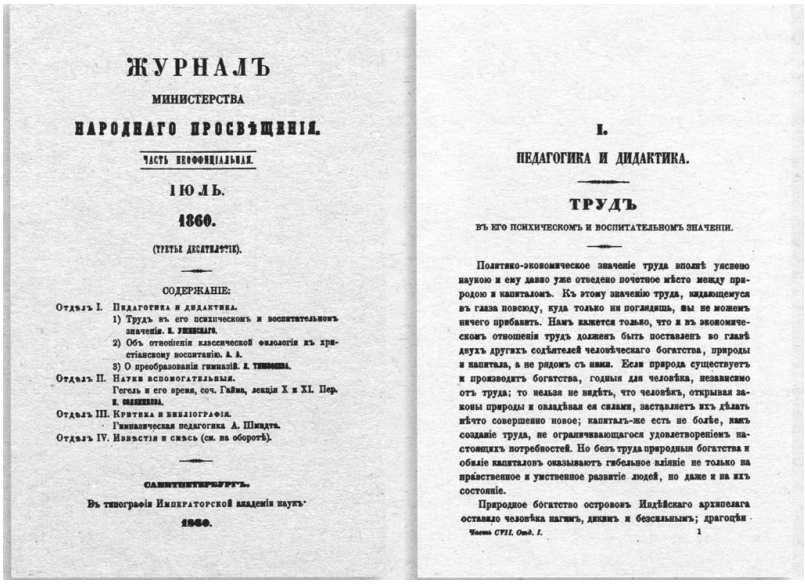
Что же это были за "основательные правила"?

При лёгком запасе познаний воспитанницы обретали умение вести себя в светском обществе и при случае могли исполнить песенку, прочитать стишки или грациозно потанцевать. За двадцать лет до Ушинского один из преподавателей института писал о подобных заведениях в России, что в них "вообще слишком много жертвовалось для блеска". "Они как бы составляли часть двора, и потому в них всё главным образом обращено на внешность".

Мертвящей холодностью повеяло на Константина Дмитриевича от пустынных коридоров, классов и приёмной залы, увешанной портретами царской фамилии. Откуда-то издалека доносились отрывистые женские голоса: "По парам! Вперёд! Не разговаривайте! Что за смех?". Это командовали классные дамы. И гулко прозвенел колокол, возвещая об окончании уроков.

Строем водили воспитанниц и в классы, и в столовую, и в спальни-дортуары. Цепочкой – затылок в затылок – проследовали и сейчас девицы в голубых платьях: маленькие ростом впереди, повыше – сзади. Их сопровождала худая высокая классная дама надменного вида. Девицы прошествовали за ней, склонив головы, глядя под ноги, правда, некоторые из них всё-таки стрельнули озорно глазами на постороннего. Голубые – это средний класс. Младшие тут наряжены в платья коричневого цвета – "кофейные". Старшие – "белые". Семьсот воспитанниц, оторванные от семьи на девять лет, разделены на три класса – в каждом из них они пребывают по три года.

Дикое и нелепое установление! К сожалению, оно оказалось не единственным в порядках благородного пансиона».



ЖУРНАЛЪ

МИНИСТЕРСТВА

НАРОДНАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

ІЮЛЬ.

1860.

(ТРЕТІЙ ДЕСЯТИЛѢТІЕ).

СОДЕРЖАНІЕ:

Отдѣлъ I. Педагогика и дидактика.
1) Трудъ въ его психическомъ и воспитательномъ значеніи. К. Ушинскаго.
2) Объ отношеніи классической филологіи къ христіанскому воспитанію. А. А.
3) О преобразованіи гимназій. К. Тишонина.
Отдѣлъ II. Науки вспомогательныя.
Гегель и его время, соч. Гайма, лекція X и XI. Пер. В. Оболенскаго.
Отдѣлъ III. Критика и библіографія.
Гимназическая педагогика А. Шмидта.
Отдѣлъ IV. Извѣстія и смѣсь (см. на оборотѣ).

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

Въ типографіи Императорской академіи наукъ.

1860.

I.

ПЕДАГОГИКА И ДИДАКТИКА.

ТРУДЪ

ВЪ ЕГО ПСИХИЧЕСКОМЪ И ВОСПИТАТЕЛЬНОМЪ ЗНАЧЕНІИ.

Политико-экономическое значеніе труда вполнѣ уяснено наукою и ему давно уже отведено почетное мѣсто между природою и капиталомъ. Къ этому значенію труда, видающемуся въ глаза повсюду, куда только ни поглядишь, вы не можемъ ничего прибавить. Намъ кажется только, что и въ экономическомъ отношеніи трудъ долженъ быть поставленъ во главѣ двухъ другихъ содѣятелей человѣческаго богатства, природы и капитала, а не рядомъ съ ними. Если природа существуетъ и производитъ богатства, годныя для человѣка, независимо отъ труда; то нельзя не видѣть, что человѣкъ, открывая законы природы и овладѣвая ея силами, заставляетъ ихъ дѣлать нѣчто совершенно новое; капиталъ-же есть не болѣе, какъ созданіе труда, не ограничивающагося удовлетвореніемъ настоящихъ потребностей. Но безъ труда природныя богатства и обиліе капиталовъ оказываютъ гибельное вліяніе не только на нравственное и умственное развитіе людей, но даже и на ихъ состояніе.

Природное богатство островокъ Индѣйскаго архипелага оставило человѣка нагимъ, дикимъ и безсильнымъ; драгоцѣн-

Часть CVII. Отд. I. 1

В первый же день Константин Дмитриевич пришёл на урок немецкого языка в «белый» класс. Толстый учитель-немец стал вызывать учениц. Константин Дмитриевич попросил открыть книгу на другой странице.

– А мы этого не учили, – растерялись ученицы.

– Вот я и желаю узнать, как вы переводите без подготовки.

Без подготовки никто из девиц в немецком тексте не разбирался. Учитель вздумал оправдываться, заявив, что в институте всё внимание обращено на французский язык, а немецкого воспитанницы терпеть не могут.

– Но за шесть лет вы обязаны были заставить полюбить, знакомя с лучшими произведениями Шиллера и Гёте.

– О, господин инспектор, – перебил немец-толстяк. – Уверяю вас, хотя они и в старшем классе, но решительно ничего не понимают в сочинениях замечательных писателей...

Ушинский вышел из класса раздосадованный.

По коридору двигалась инспекторша Александровской половины мадам Сент-Илер. Уже немолодая, но красивая, изящно и со вкусом одетая, она после первого разговора оставила у Константина Дмитриевича впечатление умной, образованной воспитательницы с добрым сердцем.

Мадам Сент-Илер улыбнулась:

– Вы, кажется, в самом деле верите, что вам удастся создать идеальный институт?

– Идеальный, не идеальный, но зачем бы я шёл сюда, если бы не верил, что сумею оздоровить это стоячее болото?! – воскликнул Ушинский. – Только до сих пор я полагал, что должен буду заботиться о том, как получше поставить учение, теперь же вижу – придётся вмешиваться и в некоторые стороны воспитания. Надо просто уничтожать многие безнравственные обычаи.

– Да что же безнравственного нашли вы в наших обычаях?

– А вот хотя бы! Разве нравственно заставлять учениц перед приходом учителя в класс снимать пелеринки и сидеть на уроке с обнажёнными плечами?

– Помилуйте, – возразила Сент-Илер. – На балы-то девушки являются декольтированными.

– На балы – да! – повторил Ушинский. – Но класс для институтки должен быть храмом науки. Короче, я буду решительно уничтожать подобные нелепости.

– Ну, что же, дерзайте, – сказала инспектриса. – Хотя сильно сомневаюсь в вашей удаче.

– Посмотрим, – бодро ответил Константин Дмитриевич.

Они расстались мирно. Добросердечная инспектриса сама видела, что в их институте слишком много дурного, и сочувствовала Ушинскому. Однако он понимал: по слабости характера да из боязни потерять место она не станет ему надёжной опорой в борьбе против здешней рутины.

А борьба разгоралась не на шутку. Со многими учителями пришлось вступить в конфликт. Даже со словесником Николаем Дмитриевичем Старовым, от которого воспитанницы были без ума. Работал он в институте пять лет, преподавал русскую литературу и слыл человеком несколько экзальтированным, сентиментальным, но незлобивым и искренне преданным своему делу. Однако посетив его урок, Константин Дмитриевич ужаснулся: сплошная риторика, пафос, набор громких фраз с обилием слов «поэтический», «эстетический», «идеал». И – никакого конкретного анализа произведений, ни малейшего разбора ни стихов, ни романов.

Неприятное объяснение со Старовым произошло опять на уроке. Ушинский не хотел этого, но так получилось.

– Вам угодно будет экзаменовать девиц? – спросил Старов, когда Ушинский вошёл в класс.

– Нет, – ответил Константин Дмитриевич. – Прошу продолжать занятия.

Старов вызвал ученицу. Заданный урок был о Пушкине. Воспитанница ответила бойко.

– Заучено твёрдо, – отметил Ушинский. – Только вместо всех этих цветистых выражений я попросил бы самыми простыми словами передать содержание «Евгения Онегина».

Ученица замолчала. А Старов сказал:

– Видите ли, господин инспектор... У нас нет библиотеки.

– То есть вы хотите сказать, что ваши ученицы не читали «Евгения Онегина»? В таком случае я не понимаю смысла преподавания литературы. А вы обращались к администрации, чтобы она дала книги?

– Но забота о библиотеке не моё дело.

– Ах, так! Так, возможно, девицы не читали и «Мёртвых душ» Гоголя? – Константин Дмитриевич вскочил, приблизился к скамейкам. – Вот вы, например, читали? А «Тараса Бульбу» знаете? А Лермонтова? Грибоедова? Как? Ни одна воспитанница не потрудилась прочесть ни одного классического произведения? Баснословно! – Ушинский вытер платком пот со лба и добавил вяло, обращаясь к Старову: – Продолжайте занятия.

Конечно, с этим учителем тоже придётся расстаться.

Однако ученицы явно недовольны – сердито косятся. Такие взгляды Ушинский уже не раз ловил и в других классах, и в коридоре: очевидно, он кажется воспитанницам невыносимым придирой и злюкой.

Они окружили его на перемене – шумные, суетливые, прикрывая излишней крикливостью собственное смущение.

– Господин инспектор!

– Прошу не так официально. Называйте меня Константин Дмитриевич, да и всё тут. Что хотели сказать?

Они подтолкнули худенькую черноволосую девушку, должно быть, наиболее храбрую.

– Вот вы недовольны господином Старовым, – начала она. – Но он же не виноват, что нам не дают книг. Зато он очень добрый. И ещё – знаменитый поэт...

– Даже? – удивился Ушинский. – Ну, допустим, что он добрый. Этого, впрочем, недостаточно для преподавателя. Но – поэт? Да притом знаменитый? Какие же у него есть произведения? Назовите хоть одно.

– А вот послушайте! – черноволосая звонким голосом и с пафосом, явно подражая своему любимому учителю, начала декламировать:

Как много песен погребальных
Ещё ребёнком я узнал!
Но никогда от дум печальных
Старов душой не унывал…

– Довольно, довольно, – засмеялся Ушинский. – Это же бог знает что такое. Он много лет читает литературу и мог бы понять – в этом стихотворении нет ни поэзии, ни мысли, ни чувства, ни образа. А он не стыдится показывать вам подобную замогильную

чепуху! Нет, воля ваша, дорогие девочки, но он фразёр и пустозвон. И вы не горюйте: я познакомлю вас с другими преподавателями, которые научат по-настоящему ценить искусство. Обо всём мы ещё поговорим, а сейчас извините, работы – гибель, прошу только – не сердитесь за мою резкость.

Его провожали уже не одними хмурыми взглядами исподлобья – появились и просветлённые улыбки, кое-кому из воспитанниц понравилась прямота инспектора и откровенность его суждений.

Однако через какой-то час пришлось снова вспылить и возмутиться. Возвращаясь от младших, он услышал за дверью класса, в котором занимались «белые», истошный крик классной дамы:

– Запрещаю разговаривать с этой мерзкой тварью! Она позорит наше честное заведение! Молчать, паршивая овца, чума, зараза!

Дверь распахнулась, из неё вылетела бледная худенькая девушка. Вслед за ней высунула голову та самая тщедушная старуха-долгожительница, с которой у Константина Дмитриевича было столкновение.

– Обо всём доложу инспектрисе! – злобно выкрикнула классная дама вдогонку выбежавшей ученице и исчезла.

Ушинский остановил воспитанницу и спросил, что произошло.

– О, господин инспектор, – проговорила она и заплакала. – Я написала домой письмо, попросила у отца немного денег, а мадмуазель Тюфяева прочитала его ответ и при всех меня оскорбила.

– Как прочитала? – удивился Ушинский. – Вы дали ей письмо отца?

– Да нет. Но мы переписываемся через классных дам, они проверяют каждое наше слово. Вот мадмуазель Тюфяева и вскрыла письмо...

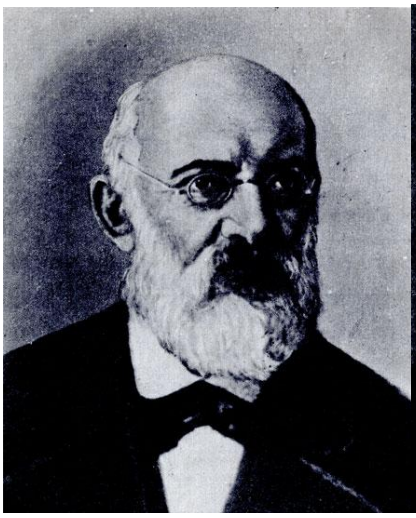
– Это же безобразие! – воскликнул Константин Дмитриевич.

– Так и я сказала, а мадмуазель Тюфяева рассердилась.

– Хорошо, успокойтесь. Я поговорю с начальницей.

– Благодарю, господин инспектор! – Глаза воспитанницы повеселели. – Вы – божественный! – выпалила вдруг она и убежала.

Константин Дмитриевич только пожал плечами.



В младшем классе учитель русского языка Соболевский в лицах изображал басни Крылова — лаял, хрюкал, кукарекал. Это было просто невыносимо слушать. А между тем русский язык ученицы у него знали крайне плохо — диктант, проведённый Ушинским, выявил, что они делали ошибок больше, чем было букв на странице. «Вы, вероятно, слышали много похвал своему выразительному чтению, — сказал ему после урока Ушинский, — но у вас выходит уже кривлянье, недостойное учителя»...

— Господин инспектор! Вас требует к себе госпожа начальница.
Ушинский дописал страницу и поднялся из-за стола.
— Передайте, сейчас буду.
Он знал, что разговор предстоит трудный.

Престарелая Мария Павловна Леонтьева, возглавлявшая Смольный институт уже в течение двадцати лет, была сама его воспитанницей. Четвёртая по счёту начальница за всю вековую его историю, она прочно усвоила все здешние замшелые традиции. Длинный путь придворного восхождения по лестнице царских милостей — от фрейлины до гофмейстерины — придал ей важности. С сознанием собственной исключительности в этом высшем свете выслуженных достоинств она и шествовала по классам и дортуарам — обрюзгшая, с отвисшими щеками, туго затянутая в корсет, в синем форменном платье. Ни природным умом, ни добротой она не отличалась — только чопорность да высокомерие. Обладая огромными связями при дворе, ведя личную переписку с членами царской фамилии, имея прямой доступ к императрице, она почитала себя персоной весьма значительной и разговаривала со всеми так, точно

делала одолжение — глядя не на людей, а поверх голов, и громко отчеканивая слова, как бы вбивая в подчинённых своих наставления, пересыпанные допотопными премудростями. Фальшиво демонстрируя любовь к детям на торжественных приёмах, она в повседневном общении с воспитанницами была предельно сурова — для лежащих в лазарете больных девочек и то никогда не находилось у неё ласковой фразы. При встречах же в коридоре воспитанницы в ответ на приветствие неизменно слышали сухие колкие замечания: «Делайте реверанс глубже», «Ведите себя благопристойнее». Она требовала от девочек смирения, а классным дамам вменяла в обязанность поддерживать исполнение предписанного этикета. Пуще огня боялась она любых нововведений.

Как же могла она относиться к Ушинскому?

Появление его в институте от неё не зависело. Он был рекомендован императрицей. Поэтому волей-неволей верноподданнейшая начальница была вынуждена не только принять его, но и во всеуслышание выразить на первых порах своё удовлетворение тем, что Общество благородных девиц пополняется выдающимися педагогами: перворазрядному заведению России пристало иметь отменных учителей! В душе же она относилась к новому инспектору классов с еле сдерживаемой неприязнью.

— Что же такое получается, господин Ушинский? — спросила она, увидев его в дверях своего просторного, обставленного громоздкой мебелью кабинета. — Уже четырнадцать учителей покидают наш пансион. Ваши требования к ним, по-видимому, чрезмерно велики?

— Отнюдь, — ответил Ушинский. — Мои требования к ним элементарно разумны. Просто эти господа не соответствуют высокому званию учителей.

— Но я слышала, Вам не нравятся и наши классные дамы. Между тем они неукоснительно следят за порядком.

— Если говорить откровенно, Ваше превосходительство, мне не нравятся как раз те порядки, за которыми следят классные дамы. Ну, разве не дико, что в классах ученицам запрещается разговаривать с мужчинами-учителями?

— Девушкам из высшего света неприлично обращаться с вопросами к мужчине.

— Даже если надобно спросить об уроке?

— Для этого извольте — через классную даму!

— Нет, — возразил Ушинский. — Так больше не будет. Беседы учениц с учителями Вы разрешите. И отмените воистину неприличное правило — сидеть девицам на уроках декольтированными. И ещё — запретите классным дамам совать нос в личную переписку учениц с родными. Полагаю, все эти требования в духе тех преобразований, которые угодны лицам, с коими был оговорён мой приход в Ваше заведение?

Леонтьева улыбнулась, но улыбка её походила на гримасу человека, проглотившего горькое. Горькой пилюлей для неё и было напоминание о высочайшей воле лиц, навязавших пансиону благородных девиц такого шального инспектора.

Начальнице наверняка казалось, что царствующие особы сами не ведали, что творят, позволив ломать традиции Смольного этому выскочке-плебею...

— Меня пригласили сюда, — продолжал Ушинский спокойно, — чтобы, насколько это в моих силах, я помог ввести необходимые улучшения в учебный процесс. А посему соблаговолите ознакомиться — вот мой проект преобразований. Я только что закончил его составление.

Леонтьева взяла из рук Константина Дмитриевича папку с исписанными листками. Приставив к глазам пенсне, она долго разглядывала каждую строчку. Для неё не были новостью главные статьи этого проекта — с вышестоящими властителями было оговорено, что девицы в пансионе будут отныне находиться не девять лет, а семь, и размещаться будут тоже не в трёх классах, а в семи — семь одногодичных классов, как в гимназиях. Переход же из одного в другой будет совершаться после экзаменов, в строгом соответствии с усвоенными знаниями. Новостью для себя начальница посчитала предложение Ушинского ввести в младших классах по пять уроков русского языка в неделю.

— Как? — удивилась она. — Столь много? Ну, понимаю — изучать французский язык, а свой-то, отечественный, они и так разумеют!

— От сего заблуждения и проистекает наше национальное невежество, — сказал Ушинский. — Отечественный язык есть единственное орудие, посредством которого мы усваиваем идеи и знания.

— Знания! Не поэтому ли Вы вводите и естественные науки? Для девиц? Законы природы?

— Человек должен быть всесторонне развит.

— Послушайте, господин Ушинский! Чего Вы добиваетесь? Хотите перевернуть вверх дном наш пансион?

— Нет, Ваше превосходительство. Я забочусь о преобразовании не только этого пансиона. Хочу, чтобы женщины России получали полное образование, имея высокую цель: проводить в жизнь народа результаты науки, искусства и поэзии.

— Помилуйте! — с искренним возмущением воскликнула Леонтьева. — Да образование добрых жён и полезных матерей семейств — вот главная цель сих заведений. Так означено ещё указом великой Екатерины Алексеевны при учреждении нашего Общества благородных девиц.

— Тому делу сто лет давности, — возразил Ушинский. — А ныне времена изменились. Ныне Россия требует, чтобы воспитание женщин, кроме индивидуального и семейного значения, имело ещё значение в народной жизни — через женщину должны входить в народную жизнь успехи науки и цивилизации.

Леонтьева помолчала и бросила папку на стол. Она сделала это с таким раздражением, что Ушинский невольно улыбнулся. Да, по-разному понимают они цели и задачи женского просвещения! И никогда не столковаться им по-доброму. Лишь необходимость передать проект инспектора на высочайшее утверждение заставила

госпожу начальницу более не спорить. А была бы на то её воля, уничтожила бы она сейчас все эти его листки с превеликой радостью.

— С Вашего позволения, я приступаю к поискам новых преподавателей, — сказал Константин Дмитриевич.

— Ищите и обрящете, — буркнула начальница...

В тот же день он поехал в Таврическую бесплатную школу. Несколько дней назад ему сообщили, что там собрались хорошие молодые учителя, поставившие перед собой цель — готовить учительниц для народных школ. Константин Дмитриевич посетил уроки математики инженера Косинского, уроки литературы знатока древней письменности Ореста Фёдоровича Миллера и уроки истории офицера Михаила Ивановича Семевского, а потом пригласил всех троих преподавать в Смольном. Из первой гражданской гимназии он взял молодого словесника Василия Ивановича Водовозова, из Николаевского института — географов Лядова и Павловского. Уговорил перейти в Смольный и своего гатчинского друга Якова Павловича Пугачевского.

Пугачевский явился на первый урок ботаники в физический кабинет в сопровождении служителя Антипа, нёсшего большую корзину с цветами и травами из Гатчины. Это сразу внесло живую струю в отношения между новым учителем и воспитанницами — они начали разглядывать цветы, отличать мхи от трав, узнали, какие ещё есть простейшие растения, и услышали чуть ли не впервые в жизни о разумной связи всего живого на земле. Они поняли, что так учиться и легче, и понятнее, и с нетерпением ждали каждого нового урока Пугачевского.

Увлекательно начались занятия и по другим предметам. Воспитанницы приобретали вкус к знаниям.

По Петербургу пронёсся слух о новых методах преподавания в Смольном институте. Многие отличные педагоги, прослышав о том, как интересно поставлена тут учебная работа, теперь сами шли к Ушинскому.

Однажды ранним воскресным утром прямо на квартиру к Константину Дмитриевичу явился молодой человек. Константин Дмитриевич вышел в халате — хмурый и бледный — болезнь напоминала о себе постоянно. Пришедший же, весёлый и розовощёкий, показался ему излишне бойким и самоуверенным.

— Я Семёнов Дмитрий Дмитриевич, — представился он. — Преподаватель географии в первой гимназии и Мариинском училище. Читал Ваши статьи, они мне очень нравятся. Разделяю ваши педагогические взгляды и хотел бы получить у Вас работу. Хоть несколько уроков по географии.

— Извините, — ответил Константин Дмитриевич суховато, — но я принимаю в институт только учителей, лично мне известных. Притом я требую кроме основательных знаний непременно педагогический талант. И, наконец, я решаюсь пригласить учителя лишь по прослушивании по крайней мере десяти уроков.

— На последнее согласен, — поспешно ответил Семёнов, — а чтобы Вы ознакомились с моими педагогическими взглядами, вот... извольте просмотреть кое-что из моих письменных трудов — и он протянул сверток.

Константин Дмитриевич взял его бумаги с неохотой. Когда же вечером, на досуге, он развернул их, то обнаружил весьма интересную программу гимназического курса географии, подробный конспект уроков и даже статью о преподавании географии по идеям Риттера. Всё это убеждало, что утренний визитёр действительно талантливый педагог. Константин Дмитриевич, не откладывая дела, дал телеграмму: «Приезжайте ко мне немедленно».

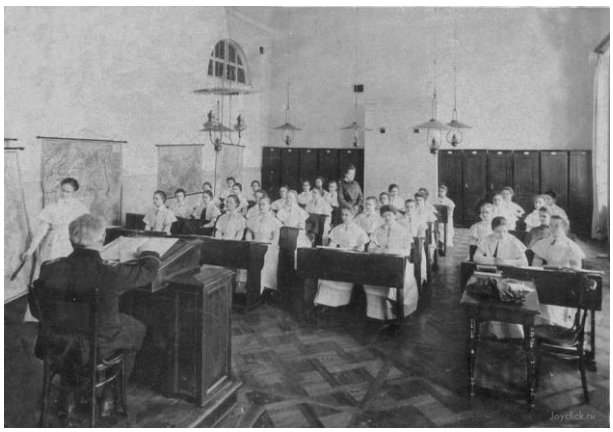
Он встретил Семёнова уже иначе, извинился за первый сухой приём и сказал:

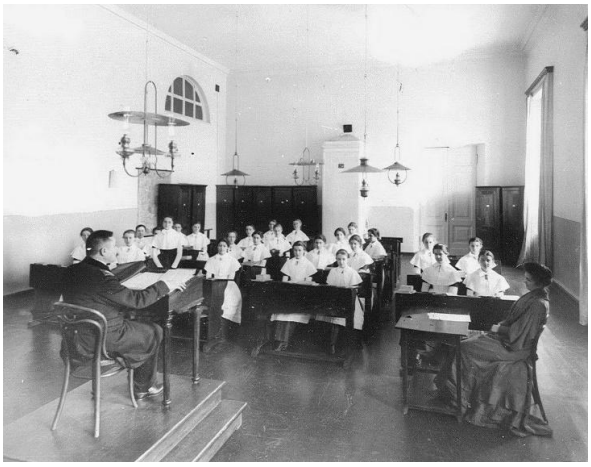
— Приглашаю Вас, но не учителем географии — на этот предмет у меня есть прекрасные преподаватели — а учителем русского языка и предметных уроков в двух низших классах.

Семёнов согласился.

А вскоре появился в Смольном и Лев Николаевич Модзалевский — преподаватель отечественной словесности. Спустя несколько лет русские школьники будут с увлечением заучивать его стихотворения, написанные по просьбе Ушинского для книги «Родное слово»: «А, попалась птичка, стой!», «Дети, в школу собирайтесь» и многие другие.

Модзалевский, Семёнов, Семевский, Водовозов, Миллер, да и почти все молодые учителя, собранные Ушинским, сделались его верными друзьями. Деловое общение с ними приносило Константину Дмитриевичу и радость, и пользу.





Серьёзные занятия в институте давно начались, а желанного утверждения проекта ещё не было.

Однажды в Смольный прибыл главноуправляющий учреждениями ведомства императрицы принц Ольденбургский — сын сестры Николая Первого, двоюродный брат царствующего самодержца Александра Второго. Не молодой, но молодцевато-подтянутый, он браво вышагивал по коридору Смольного, широко расправив плечи, горделиво вскинув голову и холодно поглядывая на всё вокруг застывшими выпуклыми глазами.

Константин Дмитриевич подступил к нему с вопросом:
— Когда же, Ваше высочество, будет утверждён наш проект?
Ольденбургский остановился, чуть заметно улыбнулся:

— На всё надобно время, господин инспектор. Вы задумали столь важное дело, что его требуется обсудить со всех сторон.

— Да я составил проект за три недели, а обсудить его можно в три дня! — запальчиво ответил Ушинский. — Приглашены учителя, готовы программы, а у меня связаны руки.

— Ну, не сердитесь, не сердитесь, горячий и нетерпеливый реформатор, — опять снисходительно улыбнулся высокопоставленный чиновник. — Я велю поспешить.

Однако он не очень-то спешил выполнить своё обещание...

8 ГЛАВА

Под Новый, 1860 год Константин Дмитриевич завершил книгу «Детский мир».

Он сделал её именно такой, какой видел в мечтах, — увлекательным сборником разнообразных рассказов о ребячьей жизни, о живой природе и русской истории. Книга получилась в двух частях.

И ещё «Хрестоматия» — отрывки из классических произведений. Первая часть — первое знакомство с миром: «Дети в роще», «Дети в училище», «Зима. Весна. Лето. Осень». Глава «О человеке» начиналась так: «Я человек, хотя ещё и маленький...».

Константин Дмитриевич с уважением относился к каждому ученику. Но, ценя в маленьком человеке его право на собственное достоинство, он требовал от каждого глубокого обдумывания любого своего поступка: «Я иногда пошалю, иногда поленюсь, иногда рассержусь, случается, что скажу неправду, но у меня есть желание быть умным, знать много, быть послушным, правдивым, добрым, и я могу сделаться таким, если постараюсь — у меня есть желание и возможность сделаться умнее и добрее».

Видеть людей умными и добрыми — вот чего Константин Дмитриевич хотел, вот для чего он писал книги, чему учил учеников. Как и всегда, он проверял свои педагогические теории, воспитывая собственных детей дома и девочек в Смольном. В институте ему помогали его друзья-педагоги. Все они были увлечены идеей Константина Дмитриевича — преподавать любую, пусть даже самую сухую науку, увлекательно, наглядно, предметно.

Но Константину Дмитриевичу хотелось передать свои мысли о воспитании всем учителям России. И он продолжал писать педагогические статьи, даже решил издавать педагогический журнал. Явившись к министру просвещения, он сказал, что желает выпускать журнал под названием «Убеждение».

— Главнейшая дорога педагогического воспитания есть убеждение, — объяснил он, — а на убеждение можно действовать только убеждением.

Журнал под таким названием ему издавать не разрешили. Но предложили стать редактором журнала, который выпускало само министерство просвещения.

Константин Дмитриевич взялся за эту работу. Когда-то в Ярославле он задумал оживить сухие, казённые «Губернские ведомости». Теперь ему захотелось превратить пустой и бесхарактерный, малопопулярный среди учителей министерский орган в настоящий педагогический журнал. Со всей энергией, на какую он был способен, не отрываясь, однако, от повседневной инспекторской работы в институте, отдался он редакторской деятельности.

Он привлёк в редакцию университетского товарища Юлия Рехневского, заказывал статьи Модзалевскому, Семёнову, Водовозову, искал авторов и среди других педагогов в России. И очень скоро «Журнал министерства народного просвещения» — сокращённо «ЖМНПр» — стал неузнаваем: вместо малозначительных заметок на всевозможные, подчас весьма далёкие от проблем воспитания темы в нём стали публиковаться крупные научные труды по педагогике и психологии. Печатал свои новые произведения и Константин Дмитриевич.

Полтора года он вёл эту работу. Но... министерству не понравилось, что журнал стал «чрезмерно научным». Это была придирка — на самом деле, не понравилось то, что Ушинский выступал на страницах журнала со статьями, в которых «не осуждал вредные тенденции в литературе».

Иначе говоря, от Ушинского потребовали, чтобы он выражал правительственную точку зрения, вступая в полемику с прогрессивными журналами России при обсуждении острых общественных вопросов…

Ушинский попытался ещё объяснить свою позицию, «вразумить» министерских деятелей, доказывая, что нельзя бесчестным путем вести журнальное дело: «Если бы мы стали обличать вредные тенденции в тех или иных журналах, то есть другими словами... печатать доносы на писателей, журналы и цензоров, то мало бы выиграли этим в уважении публики», — писал он в официальной записке и добавлял: «Журнал выдержит свой характер, имея в виду одно благо народа, его истинное нравственное и умственное образование, и общество, наконец, обратится к нему с доверием».

Но уже ничего не помогло. На записку Ушинского была наложена резолюция: «...по приказанию министра... журнал министерства народного просвещения с 1862 года должен издаваться на прежних основаниях».

Так оборвалась ещё одна попытка Ушинского «рассеивать идеи». В Ярославле он был вынужден уйти из газеты, выпустив одиннадцать номеров, сейчас подписал восемнадцать ежемесячных журнальных выпусков. Как и тогда, он мог бы сказать сейчас, что опять пришёлся не ко двору...

Каждый четверг он собирал у себя в квартире друзей-педагогов. Они охотно сходились к нему сюда, в небольшой серенький флигелёк на территории Смольного монастыря. За чашкой чая говорили о литературе, о делах «смолянских», обсуждали педагогические статьи. И радовались тому, как менялся нравственный облик воспитанниц, особенно в старшем классе: у девушек пробудилась тяга к знаниям, к чтению книг — они читали теперь даже ночами, при свечах, таясь от классных дам. Живой интерес к общественным проблемам заставлял учениц делиться волнующими вопросами с учителями и после занятий, сопровождая наставников в коридорах или в саду.

— Боже! — восклицали классные дамы, — они называют друг друга по именам!

От страха перед новшествами в институте замирали те, кто не понимал, что Россия находится на рубеже государственных реформ. Со дня на день ожидался манифест об отмене крепостного права. 5 марта 1861 года, в последний день Масленицы, русское правительство всё же отважилось огласить «Положение» об отмене крепостного права.

Ушинский встретил его с надеждой на то, что эта мера поможет народу улучшить жизнь. Сразу после оглашения манифеста и молебна в институте Константин Дмитриевич собрал старших воспитанниц и произнёс перед ними горячую речь, убеждая, как важно, особенно теперь, отдавать все силы просвещению народа.

— О, сколько нужно школ, школ и школ для всего этого народа, возрождённого к гражданской жизни! — восклицал он. — Но где взять учителей?

И он призывал воспитанниц старших классов избрать благородный путь служения народу — стать учительницами.

По настоянию Ушинского в институте открыли воскресную школу для горничных — занятия в ней стали вести воспитанницы.

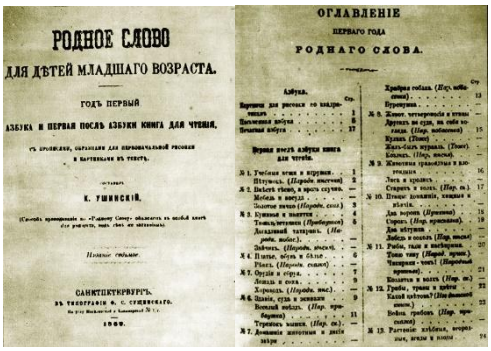
Скрепя сердце терпела подобные вольности в стенах Смольного Мария Павловна Леонтьева. Утверждённый в конце концов высочайшей волей проект перестройки Общества благородных девиц давал дерзкому инспектору большие полномочия. Начальнице невыносимо было видеть, как рушатся одна за другой привычные традиции. Поэтому Леонтьева решила принять на себя богоугодный долг — любыми способами противостоять пагубным затеям инспектора и его соумышленников. Она затягивала всячески выполнение утверждённого проекта, прикрыла воскресную школу. Классным же дамам вновь дала волю на уроках — по-прежнему они вмешивались в переписку воспитанниц. И опять было запрещено девицам разговаривать с учителями-мужчинами.

Последний приказ поставил девушек перед необходимостью хитрить. Хитрить, но всё-таки обращаться к учителям с вопросами, которые немыслимо было оглашать вслух при надзирательницах. И ученицы задавали такие вопросы прямо в тексте сочинения, заключая их в скобки.

Учитель Семёнов пришел на очередной четверг к Ушинскому с тетрадкой одной ученицы и сообщил, что ему задан «вопрос в скобках». Прочитав где-то стихотворение поэта-революционера Михайлова, воспитанница запомнила из него строчки: «Отчего под ношей крестной, весь в крови, влачится правый?» и спрашивала: «Не правда ли, такой ужас исчез в России с освобождением крестьян? Но если он существует и теперь, почему же все вы, честные, добрые, великодушные наши преподаватели, не подниметесь вместе с великим нашим наставником и общими усилиями не уничтожите это страшное зло в России?».

Ушинский вскочил из-за стола, начал взволнованно ходить по комнате. Взрослым девушкам запрещено беседовать с учителями! Видите ли, заботятся о воспитании в девицах скромности! Но боятся-то совсем другого, ведь при всей наивности обращения этой ученицы к честным, добрым преподавателям мысли у неё какие серьёзные, общественные! А давно ли ещё в головах у них всех были лишь шпоры кавалергарда?

Константин Дмитриевич связывал все подобные перемены в нравственном облике воспитанниц с благотворным влиянием труда на них. Учение — тоже труд! Девицы прозябали прежде в атмосфере разлагающего безделья. Теперь же их возвышал и облагораживал интерес к общественным проблемам. «Труд, исходя от человека на природу, действует обратно на человека», — напишет он несколько позже, когда будет работать над статьёй «О труде в его психическом и воспитательном значении».



РОДНОЕ СЛОВО

ДЛЯ ДѢТЕЙ МЛАДШАГО ВОЗРАСТА.

ГОДЪ ПЕРВЫЙ

АЗБУКА И ПЕРВАЯ ПОСЛѢ АЗБУКИ КНИГА ДЛЯ ЧТЕНІЯ,

съ прописями, сдѣланными для первоначальной рисовки и картинками въ текстѣ.

составилъ

К. УШИНСКІЙ.

Новое изданіе

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

ВЪ ТИПОГРАФІИ Ф. С. СУЩИНСКАГО.

1864.

ОГЛАВЛЕНІЕ

ПЕРВАГО ГОДА

РОДНАГО СЛОВА.

Азбука.

Стр.

Картинки для рисовки со шаблончиками 1

Цѣлковая азбука 6

Печатная азбука 17

Первая послѣ азбуки книга для чтенія.

№ 1. Учебная чтен. и вопросы . . 1

Штурмъ. (Народн. миѳъ) 2

№ 2. Бѣльчёнокъ, и просъ слушать. —

Небесь и звѣзды . . . . . —

Золотое яичко (Народн. сказ.) 3

№ 3. Кушанье и пьянство . . . 4

Тонкодымушка (Пословицы) 5

Ладанный татарчонъ. (Народн. анекд.) . . . . . —

Зайчонокъ. (Народн. миѳъ). . —

№ 4. Пятна, пёстры и сплош. . 6

Ёжикъ. (Народн. сказка) . . —

№ 7. Орудія и сёгра. 7

Лошадь и волкъ. 9

Хорошадь. (Народн. анек.) . . —

№ 6. Щенки, суда и женщины . 9

Конный мужикъ. (Пар. пословицы) 11

Тушканчикъ мышки. (Нар. ск). —

№ 7. Домашніе животныя и дикія звѣри . . . . . —

Храбрая собака. (Нар. небылица) 13

Пугуренки . . . . . —

№ 8. Жаворонокъ и пчёлы . . —

Дружба не суди, на себя кивай. (Нар. пословицы) 15

Кулакъ. (Такъ) . . . . . —

Жадъ-быть нужнымъ. (Такъ). —

Бодливъ. (Нар. пословицы). —

№ 9. Животныя грамотныя и благодарныя 16

Лисъ и кувшинъ . . . . . —

Старикъ и волкъ. (Нар. ск.) 17

№ 10. Пчёлы домашнія, хищныя и пёстрыя. . . . . —

Два ворона (Пословица) . . 18

Сорока. (Нар. пословица). . 19

Два вѣтуна . . . . . —

Любовь и совѣтъ (Нар. посл) —

№ 11. Рыба, гадъ и насѣкомыя. 20

Тяни тяну (Народ. прим.). —

Чванливая - чокъ! (Народный пословицы). 21

Кошачья и волчъ (Нар. ск.) —

№ 12. Грибы, травы и цвѣты . 22

Какой цвѣтокъ? (Нар. домашній анекд.) 23

Бобовы грибовъ (Нар. пословицы) . . . . . —

№ 13. Растеніе хлѣбныя, огородныя, пчёлы и пчёлы . . 24

Ушинский продолжал своё дело в институте. Он шёл к воспитанницам, чтобы увлечь их поэзией Пушкина и глубиной критической мысли Белинского. А говоря о Лермонтове, допытывался: «Какое сходство можете найти между Лермонтовым и Гоголем?». И сам объяснял: «Гоголь такой же разочарованный, как Лермонтов, но с той разницей, что выражает своё разочарование насмешкой. А Лермонтов говорит о нём с отчаяньем». Это было ново для девушек, и ещё серьёзнее задумывались они не только над своеобразием творчества отечественных писателей, но и над фактами окружающей их действительности.

Внимательно приглядывался Константин Дмитриевич к каждой воспитаннице, стремясь найти среди них способных продолжать учение в дополнительном педагогическом классе.

Так выделил он Лизу Цевловскую. Он заметил в её характере целеустремлённость, жажду новых знаний и уговорил её учиться дальше, чтобы стать учительницей. Он даже выхлопотал для неё значительную стипендию.

«Всю силу великодушия этого благороднейшего человека я поняла гораздо позже, — писала впоследствии педагог и писательница Елизавета Николаевна Цевловская-Водовозова в книге «На заре жизни». — Продолжая знакомство с Ушинским и после выпуска из института, я лично была не раз свидетельницей того, как он не только приходил на помощь советом, но и доставал работу нуждающимся, выхлопатывал стипендии, а за некоторых вносил деньги из своего кармана. В последнем случае он неизменно просил не называть его имени тем, кому помогал».

Благотворное влияние личности Ушинского определило жизнь многих девушек-смолянок. Через несколько лет после ухода Константина Дмитриевича из института он случайно оказался в одной из школ. Навстречу ему с радостным возгласом кинулась молодая учительница — она не могла сказать ни одного слова, лишь разрыдалась. А на другой день он получил от неё письмо. Выпускница Смольного института Быстродумова выражала Константину Дмитриевичу признательность за всё то добро, которое он ей сделал. Она писала, что если бы не он, то после выпуска ей пришлось бы влачить постылое существование, какое влачит молодежь в семьях её родственников, мелких чиновников, где девушки ведут борьбу с родителями не за право учиться, а за

право приобрести новую тряпку. «И меня ожидала бы та же участь: ведь институт до Вашего вступления в него не возбуждал более чистых стремлений...».

Некоторые выпускницы, уже сдав экзамены, покидали институт. Так уехала, не дождавшись торжественного выпуска, и Елизавета Цевловская. Ей предстояло жить в доме богатого дядюшки-генерала. Прощаясь с ней, Константин Дмитриевич сказал:

— Очень жаль, что вы не можете жить среди людей трудящихся. Боюсь, как бы вас не увлекли звуки вальса да звон шпор. Ну, да я вам не дам погрузиться с головой в ваши оборочки. Недельки через две непременно нагряну к вам, узнаю, что вы путного сделали. Не думайте, что я враг веселья, напротив даже, но развлечения могут быть только после труда.

И он сдержал обещание — повидал Елизавету Цевловскую через три недели. Убедившись, что она нашла новых друзей среди передовой петербургской молодёжи, порадовался её неколебимому намерению — жить насыщенной духовной жизнью.

А в Смольном между тем готовились к приёму императрицы. По традиции она раздавала лучшим воспитанницам награды — «шифры» — резные вензеля, обозначающие начальные буквы имени царствующей особы. Мария Александровна прибыла в институт 7 марта. Константин Дмитриевич вызывал учениц по списку, царица вручала им «шифры». Потом двинулась по залу мимо выстроенных принаряженных девиц, приветствуя их.

Ушинский по институтскому этикету должен был отступить в сторону, освободив место начальнице. Но как раз в этот миг её императорское величество соизволила заговорить, а Ушинский ей ответил — так вместе, разговаривая, они и пошли по залу…

20 марта 1862 года Василий Иванович Водовозов писал Елизавете Цевловской — своей невесте: «В нашем институте поднялась целая гидра сплетен. Ушинский выходит в отставку вследствие доноса Гречулевича. Я тут тоже замешан».

21 марта он добавлял: «Со Смольным вообще всем нам, и Михаилу Ивановичу (Семевскому), и мне, придётся распрощаться. Там совершенное землетрясение: всё перевернулось вверх дном... Я был сегодня у Ушинского. Он истинно страдает, что всё дело расстроилось. Можно себе представить, кто после нас пойдёт преподавать в Смольный. Ведь это нравственная смерть — попасть под начало Налётова и Гречулевича».

22 марта Константин Дмитриевич был на приёме у принца Ольденбургского. Разговор этот прозвучал для смольнинского инспектора окончательным приговором. В тот же день Ушинский подал сразу три прошения — принцу Ольденбургскому, в министерство просвещения и в совет института: он ходатайствовал об увольнении его от занимаемой должности по болезни. «Расстроенное здоровье заставляет меня уехать за границу на продолжительное время...».

Он не был сейчас в столь бедственном положении, как когда-то, покидая Ярославский лицей. Молниеносно разошлась среди читателей книга «Детский мир»: за один год — три выпуска! Это давало кое-какие средства для существования.

Но было тяжело морально: за пользу, принесённую им Отечеству, его безжалостно вышвыривали. Покровительство императрицы не спасло от удара.

«Его императорское величество, — читаем мы в резолюции, наложенной на прошение Ушинского, — уволив инспектора классов Общества благородных девиц и Александровского училища коллежского советника Ушинского от занимаемой им должности, всемилостивейше повелеть изволила... возложить на него поручение осмотреть некоторые из замечательных заграничных училищ и представить по возвращении возможно подробное об устройстве и управлении заведений описание...».

23 марта, то есть на другой день после подачи прошения Ушинским, вопрос о его заграничной командировке решался императором всероссийским.

Так торопливо занимались судьбой русского педагога высокопоставленные государственные деятели, и все они не нашли ничего лучшего, как под предлогом

почётного задания отправить его подальше за пределы России. Он был изгнан из Смольного. Вместе с ним в знак солидарности ушли его друзья Водовозов, Семевский, покинул институт и Модзалевский.

9 ГЛАВА

«Моя заграничная поездка далеко не удовлетворила моим ожиданиям, сначала напала страшная тоска, даже до отчаянья... Вследствие ли понесённых в Питере неприятностей, вследствие ли перемены климата, общества, отсутствия занятий или уже так себе, естественный ход болезни, но только моё здоровье сильно здесь опустилось...».

Из-за плохого здоровья он даже не сразу выехал из Петербурга — командировка началась 24 апреля, он же собрался в дорогу только во второй половине мая. И приехал в Германию сначала один, без семьи. В Бонне на Рейне жил знакомый ему по Московскому университету Александр Ильич Скребницкий — историк и врач-окулист. Однако вскоре Ушинский перебрался в Швейцарию, в место, более для него благоприятное по климату, на берег Женевского озера.

Он аккуратно выполняет предписания докторов — пьёт сыворотку, принимает виноградный курс лечения, но все средства эти мало помогают.

«Здоровье моё с каждым днём становится всё хуже и хуже, и швейцарский воздух не заменяет мне недостающей деятельности».

«Сегодня я опять проснулся весь в поту, вытерся водою (комнатною) утром и простудился — кашляю».

«Праздники пролежал в постели».

Такими горестными сетованиями почти на протяжении всего года наполнены его письма друзьям, с которыми он ведёт оживлённую переписку. Он пишет в Россию Пугачевскому, Семевскому, Белюстину, в Бонн — Скребницкому, в Гейдельберг — Модзалевскому. Модзалевский, покинув Смольный, в этот период тоже жил в Германии.

Константин Дмитриевич сожалеет, что «рано, не в пору» расстался со смольнинскими преподавателями. «Не собраться уже такому педагогическому кружку, по крайней мере, вокруг меня уже не собраться».

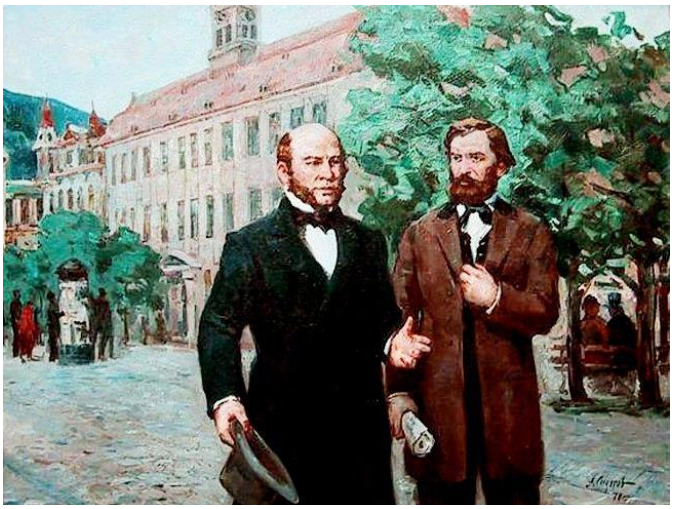
Отчаянье, охватывающее его, прорывается подчас душераздирающими словами: «Ах, как бы мне вырваться отсюда живому!». И он умоляет друзей не забывать его. «Я так нуждаюсь, чтобы кто-нибудь из близких душе моей поддерживал меня хоть письменным словом: иногда одолевает такая тоска, что не знаешь, что и делать. Точно будто шёл, шёл да и заблудился в дремучем, безвыходном лесу. И много народу, а людей нет».

Его угнетает мысль, что он не в силах заняться порученным заданием — ездить, осматривать женские учебные заведения. Без дела — «смерть скучно». И он садится за работу над второй детской книгой, план которой набрасывал ещё в Гатчинском институте, — «Родное слово».

«Пишу покудова детскую книжку, — сообщает он Модзалевскому. — Этот труд не превосходит сил моей расстроенной души. Если немного станет легче, примусь за Педагогику».

Он так и выводит это слово — почтительно, с большой буквы. Но и детская книжка, над которой он начал трудиться, — «Родное слово», — умножит его славу Педагога, сделавшись на многие десятилетия самым главным учебником для русских школьников, приобщавшихся с её помощью к прозрачному источнику народной мудрости — отечественному языку.

Она выдержит за пятьдесят лет с момента появления невиданное количество изданий — 146!



От грустных настроений Ушинского отвлекала работа, письма друзей и ещё более — неожиданные, радостные встречи с ними.

Едва прибыл он в Швейцарию, как навестил его Пугачевский: совершая поездку в Париж, прожил он у Константина Дмитриевича пятнадцать дней. А чуть позже, в ноябре, заглянул сын инспектрисы Смольного института Сент-Илер, тоже педагог, входивший в кружок его смольнинских единомышленников.

Каждый приезжий из России доставлял не только новые вести, но как бы и тот глоток живительного воздуха, без которого Константин Дмитриевич просто задыхался.

Приехала, наконец, и Надежда Семёновна с детьми. Домик на берегу Женевского озера наполнился весёлыми ребячьими голосами. Старшему, десятилетнему Пашуте, уже требовался домашний учитель. Читать учились и девочки Вера с Надей. Замыкали дружный строй многолюдной семьи Ушинских совсем маленькие сыновья — трёхлетний Костя и едва осваивавший первые слова Володя. Константин Дмитриевич, как всегда, проводил с детьми много времени, рассказывал им сказки, знакомил с русской историей: здесь, за границей, надо было ещё чаще беседовать с ними о России — чтобы любили, не забывали о ней.

Пересилив недомогание, Константин Дмитриевич решился объехать несколько швейцарских кантонов — осмотреть прославленные женские школы и семинарии.

Он выехал из Веве в Бёрн — хорошенький, чистенький старинный городок, где очень любят медведей. Медведь здесь на гербе города, в лавках на окнах, на пряниках, медведи из гипса, из сахара, из камня и бронзы, и живые — во рву, на которых каждый вечер приходят любоваться бёрнцы.

Знаменитая женская школа Фрёлиха помещалась в узком пятиэтажном доме напротив громадного магазина. Константин Дмитриевич увидел у входа старичка привратника. Нет, это был не солдат-швейцар, который вытягивается перед начальством в струнку. Этот старичок смахивал на почтенного главу семейства, любимца детей, а это так немаловажно для учебного заведения: не казарма с часовым в мундире у дверей, а дом. Домашняя обстановка. Уют без всякой подделки.

— Господин Фрёлих ещё не приходил, — сказал привратник, — но вы подождите, скоро он будет, у него сегодня урок педагогики.

— А я могу зайти в классы?

— О, конечно. Вам в какой угодно?

Константин Дмитриевич прошёл в кабинет директора. Маленькая комнатка, обставленная полками с книгами, с письменным столом. На другом столе — картины времён года, модели для рисования, на стене — расписание. Знакомые предметы!

Константин Дмитриевич стал рассматривать книги. И сколько же воспоминаний шевельнулось вдруг! Перед глазами возникли шкафы Гугеля в Гатчинском институте. Те же старинные приятели — педагогика Грубе, Кёрнер, Шмидт...

В комнату вбежала девушка лет девятнадцати — ученица старшего класса. Ушинский поклонился ей и на её вопросительный взгляд сказал по-французски, боясь испугать своим произношением немецкого:

— Я жду господина Фрёлиха.

— Он сейчас будет. Не хотите ли почитать что-нибудь? Впрочем, здесь всё немецкие книги, — сказала она и, взяв со стола какой-то предмет, убежала.

Всё было просто, вежливо, но без той выхолощенной оскорбительной вежливости, какая отличает великосветские манеры офранцузившихся русских.

И вот вошел господин Фрёлих — мужчина лет сорока, некрасивый, но с одухотворённым лицом, одетый несколько небрежно, по-домашнему. Невольно опять вспомнилась Константину Дмитриевичу начальница Смольного Леонтьева с её жёстким требованием к учителям — быть всегда на всех уроках официально облачённым — чуть ли не во фраке и белых перчатках — как на какой-то придворной

церемонии. Много раз потом ещё сравнивал он здешние разумные и простые порядки с дикими несуразностями в учебных заведениях России.

Когда приглашенная Фрёлихом воспитанница, семнадцатилетняя девушка, повела гостя в классы, она начала беседовать с незнакомым мужчиной совершенно непринуждённо, нескованно. Что бы сказали на это Мария Павловна и классные дамы? Константину Дмитриевичу припомнилось, как прибежали к нему потихоньку прощаться воспитанницы педагогического класса. На их лицах была написана отчаянная решимость, да и сам он постарался поскорее их выпроводить, понимая всю опасность такого поступка. Хорошо воспитание, где нравственность девушек охраняют солдаты! А здесь никакой натянутости, естественность обращения, нет фальши.

Когда он вошёл в класс, двенадцатилетние девочки не косились на него испуганно и не принимали чинного, натянутого вида, не шушукались и не перемигивались, а продолжали, как и до его прихода, внимательно слушать учителя, да и шумели при этом, как шумит всякое живое существо, не превращённое в куклу. Они поднимали руки, чтобы их спрашивали, — десятки поднятых рук! Да любая классная дама в Смольном сошла бы с ума, если бы девочки-смолянки изъявили желание быть спрошенными!

А какой блестящий урок педагогики дал сам Фрёлих! Какие богатые способности он проявил! Тон с ученицами — самый дружеский. «Объясните мне это, Берта Никлаус». «Докажите мне это, Марта Нельсон». В России же только и слышишь: «мадемуазель», «фрейлина», а не то ещё нелепейшее «госпожа». «Госпожа Иванова! Сколько будет два раза пять». И вот госпожа Иванова, которой не видно из-за скамьи и которую дома зовут Машей или Сашуткой, произносит что-то воробьиным голосом. Экая тонкость в обращении! А на деле-то — страшное лакейство! И это называется заботиться о воспитании...

А как изучают здесь родной язык! Фрёлих, читая словесность в высших классах, развивает в ученицах дар речи. Сколько же трудятся они над отечественным языком, которого, по убеждению Марии Павловны, и учить-то не следует!

Константин Дмитриевич не мог сдержать себя. Тут же раскрыл записную книжку, и на её листки легли строки:

«Что до того глупые бабы есть ещё на Руси и что до того глупые идеи выходят изо рта этих баб — тут ничего нет удивительного; но как до сих пор оставляют в руках таких Матрён заведения, где собирается цвет русской женской молодёжи и на которые правительство тратит такие миллионы, что на них два раза можно купить 30 заведений Фрёлиха; как в руках таких бабищ, место которым на лежанке, как в руках дырявых мешков со старыми пословицами оставляют женское воспитание — вот что вы мне скажите!».

Школа Фрёлиха подняла со дна его души, расшевелила давно запрятанное, вызвала к жизни многое, что покрылось пеплом... Он подмечал каждую деталь в педагогических семинариях Рюгга, Кеттигера, Фриса. Одна за другой исписывались страницы в переплетённой тетрадке трудночитаемыми строчками — иногда они делались так торопливо, что превращались в сплошные волнистые линии, разобрать которые представлялось мудрёным самому автору. Впечатления захлёстывали. Ещё бы — он был на земле классической педагогики, на родине знаменитого Песталоцци, чья метода наглядного обучения воспринята всем миром. Со всех сторон сюда едут учиться — только в Россию ещё почти ничего не дошло, хотя ездили и оттуда.

С горечью думал Константин Дмитриевич о слабости развития образования в России.

Он выехал из Петербурга в момент, когда там началась подготовка к реформе русских школ. Сент-Илер привозил ему в Швейцарию уже второй вариант проекта этой реформы. Константин Дмитриевич понял, что и этот вариант безнадёжно плох. И, не

желая оставаться в стороне от обсуждения волнующего его вопроса, он шлёт в Россию одну за другой семь статей — «Письма о педагогической поездке по Швейцарии».

Годичное пребывание за границей завершалось, но из-за болезни задание своё Ушинский выполнил не полностью. Командировка была продлена ещё на год.

Он поселился теперь в Германии, в Гейдельберге. Здесь жил и Николай Иванович Пирогов, чья статья «Вопросы жизни» взбудоражила шесть лет назад всю Россию. Осуществилась давнишняя мечта Константина Дмитриевича — встретиться и познакомиться с этим замечательным человеком.

Здоровье не улучшалось. Хроническое воспаление лёгких часто приковывало к постели, не позволяло много ездить. Началось даже горловое кровотечение.

Ушинский бывает по субботам у Пирогова, заглядывает в читальню, но чаще сидит дома, переписывает книгу «Родное слово». Он очень много читает, погружаясь, как сам выразился, «в неисчерпаемые глубины немецкой философии». Он готовится к главному труду своей жизни — к большой книге о воспитании человека.

«Не скажу, что здешние школы превзошли моё ожидание, — писал он в одном из писем в Россию, — напротив, в моём воображении рисовалось нечто лучшее, но... невольно вздохнёшь, да, отстали мы, сильно отстали...».

Однако чем больше приглядывался он к чужеземной жизни, тем отчётливее рос в нём осознанный протест против манеры жить так, как живут люди на этой красивой земле. Да, здесь уютно, и природа роскошная, и улочки чистеньких городов умиротворённо спокойны, и труд в уважении, не то что в России, где любой безграмотный писаришка, едва научившись вырисовывать буквы, уже гнушается чёрной работы. Тут и образованный, даже богатый человек без стеснения накладывает на телегу навоз, а тот, кто мог бы ходить в бархате, не кичась достатком, ходит в толстом сукне; высокого правителя здесь легко принять по одежде за подёнщика, в России же наоборот — познакомишься с министром, а увидишь в нем подёнщика.

Но почему же всё-таки Ушинский чувствовал себя здесь как в тисках?

Раздумывая над размежёванной жизнью благополучных европейцев, Константин Дмитриевич вдруг понял, что мешает ему без оговорок принимать все их достоинства: они — рабы кошелька!

«Я убеждаюсь с каждым днём всё более, — писал он Михаилу Ивановичу Семевскому, — что политическая свобода не есть ещё венец счастья человеческого... Позвените только кошельком, и вы имеете перед собой самых безотчётных рабов, это самое нескончаемое рабство, а вся их свобода — какой-то парад... Нет в них уже нисколько одушевления, и одни только деньги могут их оживить».

Так близкое знакомство с довольством сытого буржуазного мира разрушило в нем обретённую ещё в студенческие годы иллюзию, будто общество людей, освобождённых от пут феодализма, способно принести человечеству истинное счастье. В условиях отсталой России переход к такому индустриальному обществу представлялся действительно значительным прогрессом. Но вот она на деле, эта власть чистогана — откровенная ограниченность буржуазного благополучия без всякого одушевления. Ушинский с искренней страстностью восклицает: «Вижу всю гадость нашу, но ни за что не хотел бы перестать быть русским!».

Heidelberg. Universität.

MARTIN & Co
MELTZER & Co

Он [Ушинский] упорно работает. Во имя народа. Во имя будущего. Он хочет облагородить русского человека всесторонним образованием. Надо настойчиво, неуклонно помогать России вырываться из мрака невежества.

Задерживаться за границей он не собирался. Близок был конец и второго года командировки. Константин Дмитриевич надеялся, что теперь-то он заслужил право на серьёзную, ответственную работу в области народного образования в своей стране. Надеясь на это, он даже не закреплял двенадцатилетнего Павла ни за каким учебным заведением за границей — временно его сын учился то в Гейдельбергском лицее, то в институте Стоя в Иене, однако, по убеждению отца, полное образование он должен был получить только в русской школе на родной земле.

Совершив ещё несколько поездок по Германии, Бельгии и югу Франции, Константин Дмитриевич собрал наконец все свои записи — готовую и начисто переписанную книгу «Родное слово», наброски отчёта-доклада для ведомства императрицы Марии, статьи — главы из большой педагогической книги, — всё, что было сделано за два года, — и покинул Гейдельберг с намерением никогда больше в него не возвращаться. Он ехал в Россию и думал: чем же встретит его многострадальная и убогая, но вечно милая сердцу отчизна?..

Он испросил у принца Ольденбургского разрешения отчитаться за двухгодичную командировку осенью, когда выйдет из печати «Родное слово». Этой своей работе Константин Дмитриевич придавал огромное значение. Он не сделал ни дня передышки после утомительной дороги, а сразу начал переговоры с издательством о книге.

Учебник первоначального обучения языку был задуман для учеников — «Год I», «Год II» — и одновременно для учителей — «Книга для учащих» с последующими дополнительными выпусками по грамматике, арифметике, географии, истории. Потом Ушинский отнёс статьи в «Педагогический сборник» и сел писать подробный отчёт ведомству императрицы...

Большой двухгодичный отчёт, такой основательный и предельно насыщенный фактами, пролежал в покоях императрицы непрочитанным два с лишним года! Лишь в 1867 году он был передан в канцелярию ведомства, сегодня это известно по документам. Ушинский же мог лишь предчувствовать, что его знания, способности и энергию никто не желает использовать в живом практическом деле в России. Ни при беседе с министром просвещения, ни на приёме у принца Ольденбургского он не уловил ни малейшего намёка на то, как они собираются поступать с ним дальше. Тогда он решил, что будет просить отставки, что займётся литературным трудом. Жить можно на гонорар — «Детский мир» выходил уже пятым изданием, с первого дня появления на книжных прилавках стало живо раскупаться и «Родное слово».

Этой дополнительной книги при отчёте от Ушинского вообще не требовали. Но он посчитал нужным положить «Родное слово» на стол принца Ольденбургского как

доказательство собственной добросовестности. Также он положил туда рапорт, в котором написал: «Нахожу себя вынужденным просить ваше высочество об увольнении меня со службы».

— Что же вы намерены делать дальше? — полюбопытствовал принц.

— Доктора запретили мне проводить зиму в Санкт-Петербурге, — ответил Константин Дмитриевич. — Они опасаются быстрого развития тяготеющей меня болезни. Поэтому, вероятнее всего, поселюсь где-нибудь на юге России. Для лечения придётся выезжать и за границу.

Ольденбургский, раздумывая, пожевал усы.

— Вот что я скажу, — резюмировал наконец он. — Признаю вашу деятельность весьма полезной для высочайше вверенного мне ведомства и решаю сохранить вас для последнего. А посему... буду ходатайствовать перед государыней о дозволении вам пробыть ещё два года на прежних основаниях. За это время вы напишете и представите мне полный курс педагогики для наших женских заведений. В подобном руководстве у нас давно чувствуется потребность.

И резолюция на рапорт Ушинского была наложена — почётная высылка за границу продлилась на два года...

Константин Дмитриевич выехал из Петербурга не сразу. Более двух месяцев пробыл он ещё в России, участвуя в заседаниях Педагогического общества. Очень уж хотелось приобщиться к живому педагогическому делу! Старый университетский знакомый и бывший учитель, профессор Редкин, давно ставший другом-единомышленником, бессменно руководил Педагогическим обществом. Пётр Григорьевич, как и вся энергичная группа петербургских педагогов-энтузиастов, в эти годы как раз очень горячо занимался обсуждением различных воспитательных проблем. Константин Дмитриевич с увлечением окунулся в их работу. Он выступал на собраниях общества с докладами, участвовал в прениях, руководил комиссией, разрабатывавшей проблему женского образования в России. В комиссию входили его друзья-учителя Модзалевский, Семёнов, Косинский.

Константин Дмитриевич выступил с сообщением о женском образовании в Европе. «Его плавный и красноречивый рассказ произвёл на нас самое выгодное впечатление, — давала отзыв о речи Ушинского одна из газет и продолжала: — Да, полагаем, и на всех остальных, потому что по окончании речи зал заседания оглушился рукоплесканиями».

Впрочем, аплодировали не все. Анонимный фельетонист петербургской немецкой газеты «обиделся» за немецких женщин: Ушинский якобы оскорбил их. Чем? Да тем, что заявил: германские школы лишают женщину общественных интересов, они ограничивают мир немок только кругом домашних забот. Для Константина Дмитриевича этого всегда было мало. Но при чём же здесь немецкие женщины? Им-то оскорбляться нечего. А вот перенимать подобную методу воспитания в России совершенно не следует.

Главной задачей, которую Ушинский ставил перед собой в это время, была задача научного обоснования Педагогики. Он доказывал, что воспитанию человека служат не только физиология или психология, но и анатомия, логика, психиатрия и патология, история и география, политэкономия и филология, короче, буквально все обширные и сложные науки о человеке, потому что педагогика и есть наука наук или даже искусство воспитывать — искусство, которое опирается на науку.

В течение двух с половиной лет за границей он пишет огромную трёхтомную работу, которую назвал «Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии». Антропология (от греческого слова «антропос») — наука о человеке.

Принц Ольденбургский предписал ему сочинять руководство «со специальным применением оного к особенностям женского воспитания». Но составлять очередной сборник узкопрактических рецептов, типичный для того времени, Константин

Дмитриевич не собирался. Руководство учителям — это не голые правила, которые можно уместить либо в десяти строчках, либо растягивать на сотни страниц.

Изучению подлежат не частные советы, а общие законы физической и душевной природы человека:

«Если педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, то она должна прежде узнать его тоже во всех отношениях».

Все свои силы, ум, опыт, здоровье Константин Дмитриевич и решил теперь отдать тому, чтобы поставить Педагогику на серьёзную философскую основу.

10 ГЛАВА

«Уединённую жизнь веду я за границей, так что, кроме моих внутренних интересов, ни для кого не занимательных, других не имею...».

Ушинский теперь редко пишет друзьям в Россию и мало путешествует. За два с половиной года он всего несколько недель провёл в Италии. Константин Дмитриевич остался в восторге от прекрасной страны, родины Гарибальди, и бранил себя за неверный выбор места жительства — надо было сразу поселиться не в Германии, а в Италии.

Но уже поздно было менять насиженное место, и, перезимовав в Гейдельберге, он возвратился с семьёй в Швейцарию, на берег Женевского озера. В небольшом двухэтажном домике они сняли квартиру, и здесь, на втором этаже, похожем на мансарду, изо дня в день трудился Константин Дмитриевич над своей «Антропологией».

Работа шла споро, ходко, но далеко не безмятежно-спокойно, как можно было ожидать в таком тихом укромном уголке Швейцарии, где рядом с тобой многолюдная семья, в которой растут счастливыми пятеро детей, окружённых заботой отца и матери. Суровая жизнь опять не давала продыха от всякого рода неприятностей.

Будучи в Италии ещё в первый раз, Константин Дмитриевич получил из России известие, которое его расстроило и повергло в гневное изумление. Он узнал, что издатель Глазунов в Петербурге выпустил и продаёт новую хрестоматию для чтения,

составленную каким-то Бенедиктовым и на три четверти состоящую из материалов, взятых из «Детского мира» Ушинского и из книги педагога Паульсона. Беззастенчивая, наглая подделка! Возмущённый лавочной спекуляцией на благородном поприще воспитания, Ушинский срочно выехал в Россию.

Он пытался выяснить у издателя, кто такой этот шустрый составитель, однако Глазунов на такой вопрос не пожелал ответить. Выяснилось только, что Бенедиктов — псевдоним, но кто за ним скрывается, осталось тайной. Убедившись, что коммерсант-издатель злоупотребляет данной ему министерством просвещения властью комиссионера, имеющего право распространять педагогические книги, Ушинский обратился за помощью непосредственно в министерство.

Волнения, связанные с обличением грязных махинаций в деле издания детских учебников, не способствовали улучшению и без того подорванного здоровья.

Перед выездом из Петербурга Константин Дмитриевич зашёл в редакцию журнала «Сын отечества». Редактором этого журнала был знакомый по прежней журналистской работе Альберт Викентьевич Старчевский. Увидев Ушинского, Старчевский не удержался от удивлённого возгласа: перед ним был уже не тот стройный, красивее Рафаэля, жгучий брюнет с пышными бакенбардами и бородкой, какого встречал он у себя в «Библиотеке для чтения» лет десять назад... Теперь стоял перед ним постаревший, болезненного вида седовласый человек со страдальческим выражением лица.

— Да, батенька, скверно, — слегка улыбнувшись, сказал Константин Дмитриевич, — ужасно я ослаб...

Он принёс в редакцию «Сына отечества» очередные главы из «Антропологии». Хотелось возможно шире распространять идеи ещё до поры, как выйдет отдельным изданием книга.

Однако Старчевский не стал печатать эти статьи Ушинского — он посчитал, что это «слишком философские сочинения».

Константин Дмитриевич вернулся из Петербурга в тихий швейцарский городок, недовольный и отказом Старчевского, и половинчатыми мерами министерства в отношении издателя Глазунова. Снова не порадовала его отчизна...

Каждый день работал он у себя в кабинете на втором этаже и вниз спускался только к обеду, усталый, но удовлетворённый сделанным за утро. И сразу окунался в атмосферу семейной жизни. За столом сидели все дети.

Пока жили в Гейдельберге, старший сын Павел учился в Иене и приезжал домой изредка. Константин Дмитриевич был рад, что сын провёл два года в заведении замечательного воспитателя Стоя, где приобрёл не только необходимые первоначальные познания, но и ту самостоятельность в характере, которую необходимо выработать четырнадцатилетнему мальчику. Теперь, до переезда в Россию, Пашута находился дома; приглашённые учителя готовили его для русской гимназии.

С затаённой гордостью посматривал отец на старшего сына, видя в нём свою верную опору в будущем. Отцовские силы на исходе, и серьёзный Пашута поддержит маленьких сестёр и братьев. Ведь самой старшей из них, Вере, всего одиннадцать лет. Девочка она старательная, аккуратная, только уж очень сдержанная.

Другие дети живо проявляют свои наклонности, по-детски непосредственно выражают мнения, от неё же редко дождёшься какой-нибудь фразы. Приходится подбодрить, подтолкнуть: «А ты, Веруша, всё молчишь. Ничего нам не скажешь?».

Они все очень разные — хохотушка Надя только на год младше Веры, а куда легкомысленнее... Семилетний Костя — непоседа, а четырёх лет от роду Владимир Константинович — флегматик. Его все ласково зовут Волей.

Шумная, озорная компания... Когда после обеда отец усаживался на диване, они, предводительствуемые добродушной швейцарской бонной, начинали весёлые игры, хороводы, затеи, песни. Не обходилось без слёз и обид, без детской хитрости — на то и

дети! Но Константин Дмитриевич смотрел на них с улыбкой, только иногда, бывало, нахмурится, если кто-нибудь проявит уж очень явную несправедливость. Достаточно было даже такого сигнала, чтобы устанавливался мир, — чутко воспринимали они не только каждое слово отца, но и каждый его взгляд.

Он любил ходить с ними на прогулки по окрестностям Веве. Дети со смехом бежали вперёд, а Константин Дмитриевич неторопливо шагал за ними по волнистым пригоркам, по берегу Женевского озера, вспоминая ландшафты родной Черниговщины и свои путешествия, прогулки с матерью по новгород-северским кручам, полям и дубравам. Здесь, в Швейцарии, всё не так; но с той же живой любознательностью склонялись дети над каким-нибудь жуком на тропинке, с тем же звонким азартом кидались в погоню за яркой бабочкой.

Здесь тоже были свои достопримечательности и предания. Величав и красив на склоне горы Шильонский замок! Сколько раз, катаясь на лодке по озеру, приближались они к нему, любуясь суровыми и таинственными его стенами.

Катание на лодке доставляло детям особенно много радости. Но однажды, когда в чудную тихую погоду они отплыли довольно далеко от берега, налетел внезапный шквал. Потемнело небо, поднялись огромные волны. В глазах детей отразился неподдельный ужас. Уцепившись за сиденье, закричал Воля, взвизгнула Надя, непоседливый Костя заметался от борта к борту. Паника была не только опасной — она могла навсегда отложиться в слабых душах как первый отзыв на любую опасность.

Константин Дмитриевич хладнокровно призвал детей к порядку — ни единым словом не выдал он собственного волнения, хотя и сам испугался: «Тихо, — сказал он. — Гребите».

На вёслах сидели Павел и Вера. Константин Дмитриевич стал размеренно, методично командовать им с кормы, не выпуская руля: «Раз-два, раз-два!».

Присмиревшие малыши уставились на старших, в некрепких руках которых находилась сейчас их судьба. Было видно, как тяжело, словно бы неохотно, движется лодка наперекор волнам и как тяжело Павлуше и Вере. И уже вслед за отцом повторяли в такт гребцам малыши: «Раз-два».

Они выплыли благополучно. И на всю жизнь сохранили память об этом уроке мужества, потому что не раз потом слышал отец, как кто-нибудь из детей в трудную для них минуту полушутя, полусерьёзно повторял, точно спасительное заклинание: «Раз-два, раз-два...».

Вечерами перед сном часто читали в гостиной. Собирались обычно все, кто жил в доме, — и Пашин учитель Николай Иванович, и няня. Занимался каждый кто чем — рисовали, вязали, шили. Но один непременно садился с книгой в руках и читал вслух. Часто это делал сам отец — знакомил с русскими писателями, особенно с Гоголем. Сочный малороссийский юмор словно возвращал на далёкую родину, заставлял и посмеяться, и призадуматься. Это были очень хорошие вечера.

Только один раз Константин Дмитриевич сильно рассердился.

Читали детский журнал, а в нём — слабый, наивный рассказ. Кто-то из взрослых не выдержал, засмеялся, сделал меткое замечание. Засмеялись и дети, начали наперебой, уже изощряясь друг перед другом в остроумии, критиковать рассказ, разносить его в пух и прах. И Константин Дмитриевич взорвался: «Прекратите немедленно! Пусть это плохо, но вы не можете сделать и так! И значит, не имеете права с видом знатоков смеяться над тем, что выше ваших суждений!».

В доме у всех были свои обязанности. Малыши прибирали перед сном игрушки. Хозяйственная Вера разливала вечерний чай. Она делала это вначале неловко, медлительно. Но Константин Дмитриевич всегда терпеливо ждал, пока она бережно донесёт и поставит перед ним полный стакан на блюдце — слегка дрожали её побелевшие от напряжения тоненькие пальцы. Он благодарил её кивком головы, а она, прильнув к нему на мгновение щекой, ощущала себя счастливой...

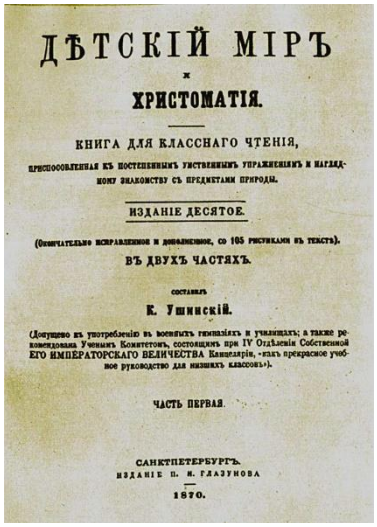
Он по-прежнему не терпел в обращении с детьми ни сюсюканья, ни слащавых нежностей.

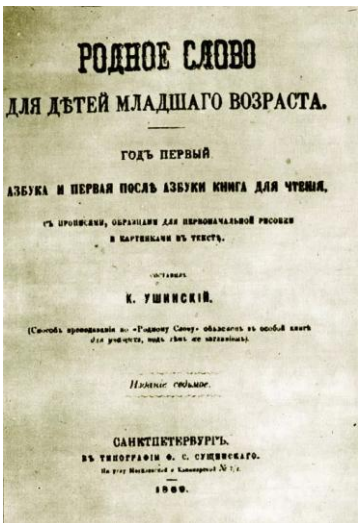
А может, просто не хотел выделять кого-нибудь из детей лаской перед другими?

Но за всеми следил он внимательным, вдумчивым взглядом небезучастного человека. И сколько тревоги и доброты было в его глазах, когда присаживался он на краешек постели заболевшего ребёнка. Тут у него находились и слова ободрения, и просьба терпеть, если больно, и утишающее эту боль прикосновение сильной руки.

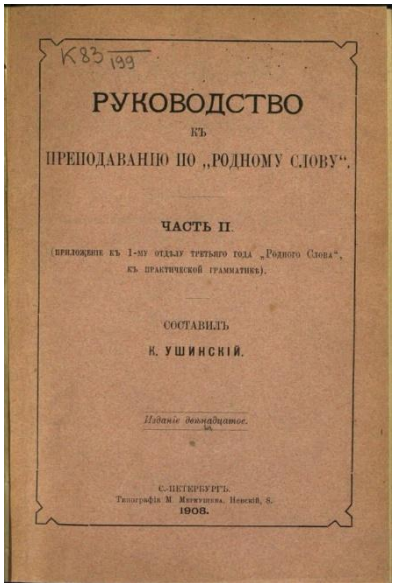
В последние месяцы перед возвращением в Россию он сам приготовлял детей к школе. С девочками он занимался по «Родному слову».

«Книга моя подвигается к концу, но подвигается очень туго по многим причинам, — сообщал он Модзалевскому о работе над «Антропологией» в конце 1866 года. — Во-первых, потому, что я теперь сам учу и Пашу, и девочек. Во-вторых, и потому, что на солнце 15° и 17° тепла, следовательно, было бы преступным не гулять. В-третьих, наконец, и всего более потому, что пришла глава о чувствах — предмет наиболее запутанный и наименее отделанный во всех психологиях».

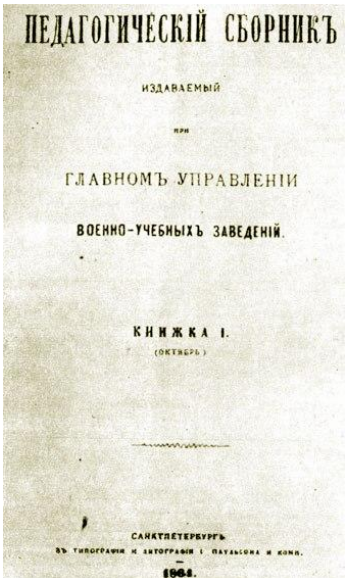

ДѢТСКІЙ МІРЪ
и
ХРИСТОМАТІЯ.
КНИГА ДЛЯ КЛАССНАГО ЧТЕНІЯ,
ИЗДАНІЕ ДЕСЯТОЕ.
ВЪ ДВУХЪ ЧАСТЯХЪ.
составилъ
К. Ушинскій.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.
САНКТПЕТЕРБУРГЪ.
ИЗДАНІЕ П. И. ГЛАЗУНОВА
1870.


РОДНОЕ СЛОВО
ДЛЯ ДѢТЕЙ МЛАДШАГО ВОЗРАСТА.
ГОДЪ ПЕРВЫЙ
АЗБУКА И ПЕРВАЯ ПОСЛѢ АЗБУКИ КНИГА ДЛЯ ЧТЕНІЯ,
СЪ ПРОПИСЯМИ, ОБРАЩАЮЩИМИ ДЛЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ РИСОВКИ
И КАРТИНКАМИ ВЪ ТЕКСТѢ.
составилъ
К. Ушинскій.
Изданіе седьмое.
САНКТПЕТЕРБУРГЪ.
ВЪ ТИПОГРАФІИ Ф. С. СУШИНСКАГО.
1869.

ОГЛАВЛЕНІЕ
ПЕРВАГО ГОДА
РОДНАГО СЛОВА.
Азбука.
Первая послѣ азбуки книга для чтенія.


К83 199
РУКОВОДСТВО
КЪ
ПРЕПОДАВАНІЮ ПО „РОДНОМУ СЛОВУ".
ЧАСТЬ II.
(ПРИЛОЖЕНІЕ КЪ 1-МУ ОТДѢЛУ ТРЕТЬЯГО ГОДА „РОДНОГО СЛОВА", КЪ ПРАКТИЧЕСКОЙ ГРАММАТИКѢ).
составилъ
К. Ушинскій.
Изданіе двенадцатое.
С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія М. Меркушева, Невскій, 8.
1903.

ЧЕЛОВѢКЪ
КАКЪ
ПРЕДМЕТЪ ВОСПИТАНІЯ.
Опытъ педагогической антропологіи.
Константина Ушинскаго.
ТОМЪ ПЕРВЫЙ.
С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
ВЪ ТИПОГРАФІИ Ф. С. СУШИНСКАГО.
1868.


ПЕДАГОГИЧЕСКІЙ СБОРНИКЪ
ИЗДАВАЕМЫЙ
при
ГЛАВНОМЪ УПРАВЛЕНІИ
ВОЕННО-УЧЕБНЫХЪ ЗАВЕДЕНІЙ.
КНИЖКА I.
(ОКТЯБРЬ)
САНКТПЕТЕРБУРГЪ
ВЪ ТИПОГРАФІИ И ЛИТОГРАФІИ І. ПАТЕЛЬСОНА И КОМП.
1864.

Новый министр просвещения граф Д. Толстой объявил «Родное слово» вредной книгой. Он вычеркнул её из списков учебников, рекомендуемых министерством для школ. Начались нападки и на «Детский мир». С восторгом воспринятый и педагогами, и учениками, и их родителями, выдержавший уже пять изданий, этот учебник стал

подвергаться критике за то, что в нём недостаточно много материалов на религиозные темы.

Критики придирались даже к рисункам: почему, мол, церковь изображена только на восьмом, а не на первом рисунке, да и то не отдельно взятая, а на общей картинке села? И почему лишь на последних страницах изображён Христос?

Нелепые эти упрёки не трогали бы Константина Дмитриевича, если бы не появлялись уже и новые хрестоматии, которые составлялись с учётом подобных «религиозных» требований.

Вот мимо этих фактов пройти было невозможно! И Ушинский опять едет в Петербург, чтобы бороться против своих идейных противников. Он снова встречается с друзьями-педагогами, с деятелями просвещения, с издателями и печатает рецензии на плохую хрестоматию Радонежского и Филонова, подробно анализируя её недостатки.

Одновременно он публикует в журнале «Отечественные записки» статью «Вопрос о душе». И, словно делая вызов всем, кто обвинял его в недостаточной религиозности, он в этой статье, посвящённой такому предмету, как душа, пишет о материалистическом подходе в науке. *«Искусство же воспитания, —добавляет он, — в особенности и чрезвычайно много обязано материалистическому направлению изысканий, преобладающему в настоящее время».*

Вернувшись в Швейцарию, Константин Дмитриевич с грустью подводил итоги. За спиной уже сорок четыре... Конечно, нельзя сказать, что обильный посев не дал всходов. Взошли семена его благородных идей в сердцах способных учеников. Россия читает романы и смотрит в театрах пьесы бывшего ярославского лицеиста Алексея Потехина. Общественно значимые статьи печатает в журналах бывшая смолянка Елизавета Цевловская-Водовозова. Всему педагогическому миру известны имена учителей Семёнова, Модзалевского, Водовозова — их открыл и выпестовал тоже Ушинский, они и ученики его, и друзья неподкупные.

И уж, конечно, неразрывными нитями единомыслия соединён Ушинский с бесчисленными, подчас даже совсем незнакомыми сторонниками его педагогических взглядов, с учителями в России, где книги его, несмотря на официальные запреты, повсеместно читаются и пользуются успехом. Лишь правительственные деятели, по долгу службы как раз призванные заботиться о народном просвещении, не оценили по достоинству ни заслуг Ушинского, ни с юности окрыляющей его цели — приносить пользу родному отечеству.

Почему же так получается? Неужели до сих пор он не ко двору в своей стране? Но ведь так же не ко двору, не ко времени в Российской империи всё передовое, всё прогрессивное, устремлённое взором в лучшее будущее! Почему?..

Доживая за границей последние дни, собираясь вернуться навсегда в Россию, он гадал: что же ещё предуготовано ему судьбой на родине?

11 ГЛАВА

Петербургский климат после тёплой Швейцарии показался необычайно суровым. Кроме того, к болезни груди прибавилась ещё болезнь глаз. Стало тяжело читать и писать — он диктовал письма.

Почти год Константин Дмитриевич выдержал в Петербурге, готовя книгу к печати. Но когда в январе 1868 года первый том «Антропологии» вышел в свет, вконец обессиленный и разбитый физически Ушинский был снова вынужден отправиться за границу для лечения. Семья осталась в Петербурге — старшие дети учились: Павел — в военном училище, Вера и Надя — в гимназии.

В качестве личного секретаря около Ушинского находился молодой учитель Александр Фёдорович Фролков. Он воспитывал младших сыновей Костю и Волю, а в период заграничного лечения Ушинского сопровождал его.

Отдавая себя безраздельно работе, Константин Дмитриевич ни на день не отрывался от рукописи. С утра садился он за стол, а к вечеру, закутавшись пледом, перебирался в кресло и с карандашом в руке читал, испещряя страницы выписками из разных книг.

Вернувшись в Петербург, Ушинский без промедления принялся обрабатывать второй том.

Обычно после завтрака он удалялся вместе с Фролковым в свой кабинет и диктовал главу за главой. Редко его сразу удовлетворял текст — он просил Фролкова перечитывать записанное, дополнял вставками, переделывал куски, которые, казалось, были совершенно готовы. Из типографии присылались корректурные листы. Константин Дмитриевич нещадно перечёркивал набранный материал, диктовал всё заново.

В начале 1869 года вышел из печати и второй том «Антропологии». Успех книги «Человек как предмет воспитания» был настолько значительным, что немедленно заговорили о её втором издании.

Большим спросом в школах пользовались «Детский мир» и «Родное слово». Константин Дмитриевич был доволен — отпустила немножко болезнь, окрепло финансовое положение. Он приободрился. Таким бодрым настроением пронизаны строчки его письма к Модзалевскому: *«Несмотря на гонения министерства, учебная публика меня полюбила и поставила в положение совершенно независимое... Семья моя здорова, дети учатся хорошо и все добряки — чего же мне более?»*

И всё же ему было нужно это «более»! Неугомонный, живой характер требовал беспрестанной общественной деятельности. Литературная работа над третьим томом «Антропологии» шла своим чередом. Повседневное общение с детьми приносило незыблемую радость. Но разве мог Константин Дмитриевич усидеть дома и не пойти на шумные заседания Педагогического общества! Каждую субботу заезжал за ним Яков Павлович Пугачевский, и вместе отправлялись они на собрание. На ходу одеваясь, Ушинский делился с другом последними новостями, а наутро, за чаем, с нетерпением раскрывал свежие газеты, выискивая отклики на вчерашние дебаты в педагогическом мире.

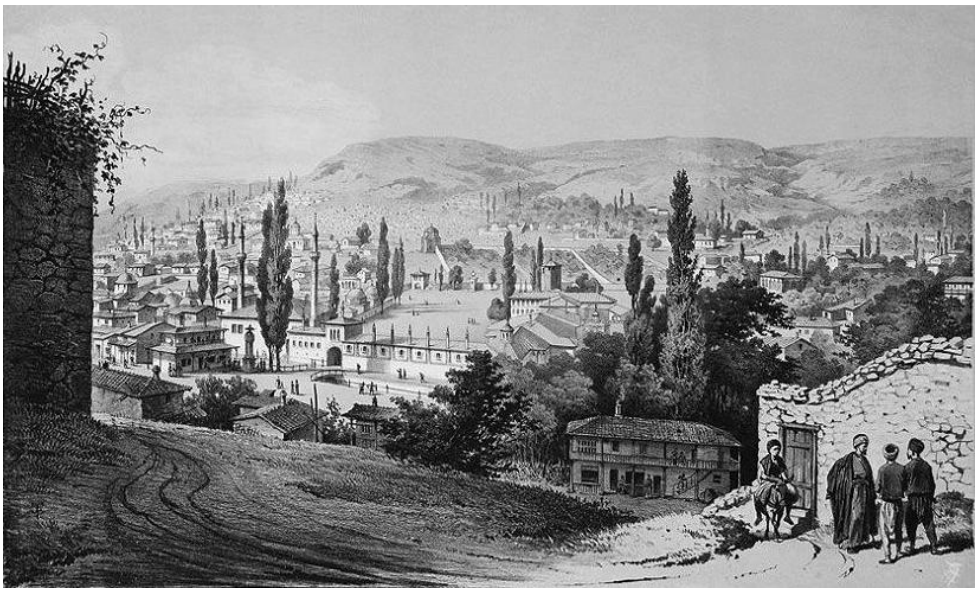
Впрочем, общественные его интересы выходили далеко за рамки узковоспитательных проблем. Голод в России! Мыслимо ли оставаться равнодушным к тому, что переживала русская деревня? В газетах изредка появлялись об этом отдельные заметки — появлялись и исчезали, будто боясь испугать читателя страшной правдой. Но голод-то вовсю свирепствовал в Архангельской губернии, и через Тамбовщину брели толпы изнурённых туляков, орловцев, не ведая, кто окажет им помощь. А сколько средств у одной только петербургской состоятельной публики? Достаточно посмотреть на маскарады, концерты, на модные магазины и игрушечные лавки, чтобы убедиться: петербургская публика имеет средства прокормить до весны тысячи несчастных людей.

И Константин Дмитриевич со страниц газеты «Голос» обращается с призывом к состоятельным горожанам — протяните же руку помощи голодающим! Уже через две недели к ста рублям, пожертвованным Ушинским, прибавилось более двух тысяч.

Волновало Ушинского и положение петербургских подростков-подмастерьев. Когда-то, редактируя ярославские «Губернские ведомости», он напечатал статью Порошина о тяжёлой участи детей. Теперь, через два десятилетия, картина их жизни не изменилась к лучшему. Бледные, худые, перепачканные, в синих полосатых халатах, за что их прозвали халатниками, преследуемые зуботычинами, толчками и оплеухами, влачили они жалкое существование, с детства привыкая к грязи и пошлости окружающей жизни. Не редкость было встретить их даже в дверях кабаков. *«Ведь дитя — тоже личность и тоже требует покровительства закона, заботы и учёбы»,* — писал Константин Дмитриевич в статье «О необходимости ремесленных школ в

столицах». *Искусство же воспитания,* — добавляет он, — *в особенности и чрезвычайно много обязано материалистическому направлению изысканий, преобладающему в настоящее время».**

*Но, по словам К. Д. Ушинского, *«отсутствие научной философии повело к самой беспорядочной мечтательности в естественных науках». «Не удовлетворяли, с одной стороны, как он говорил, "заносчивость" гегелевской философии с её претензией объяснить всю "внешнюю природу" с позиций "духа", что приводило к "забавным и унизительным промахам и противоречиям в фактической науке", с другой, — вульгарно-материалистические построения, "шарлатанство и фразёрство, вроде бюхнеровского и фогтовского". Современное Ушинскому состояние философских, равно как и естественнонаучных знаний ставило существенные ограничения в разработке проблем "Педагогической антропологии". Стремясь преодолеть эти ограничения, Ушинский пытался, говоря его словами, во-первых, снять психологию "с того буксира, на котором ведёт её до сих пор метафизика", и, во-вторых, выйти в сферу "действительного знания", реальных фактов из того "мира фантастических построек", где пребывали и "самый туманный, неопределённый идеализм", и "столько же туманный, столько же неопределённый материализм»* (Э. Д. Днепров, «Феномен Ушинского»).



Движимый заботой о нуждах народа, Ушинский непримиримо относился ко всякого рода деятелям, которые высокими словами о служении обществу прикрывали свои корыстные устремления. Столкнувшись с фактами недобросовестного подхода к защите диссертаций, он выступил в печати против лжеучёных. Но именно в тот самый день — 15 января 1869 года, — когда он писал об этих дельцах от науки, будто для того, чтобы укрепить его веру в неиссякаемость на Руси истинных талантов, почта доставила письмо от замечательного педагога Николая Александровича Корфа.

Три месяца путешествовал конверт — без точно обозначенного адреса — с маленькой станции Благодатной Екатеринославской губернии, пока добрался до цели назначения.

«Милостивый государь! Никогда не видевшись с Вами лично, я давно знаком с Вами по Вашим произведениям и глубоко уважаю Вас как педагога. **“***Родное слово***“, “***Детский мир***“** *— такие книги, которыми могла бы гордиться не только русская литература, столь бедная на детские книги, развивающие детей и в то же время обучающие их языку».*

Безвестный и, как видно, очень энергичный земский деятель просвещения откуда-то издалека сообщал, что он по собственной инициативе ввёл в 89 начальных школах преподавание по учебникам Ушинского. И это дало блестящие результаты. Он даже прилагал подробное описание школьных занятий, интересовался, так ли они действуют, и просил помощи: *«Всякая деятельность, даже и наши скромные попытки, возбуждают зависть, насмешки. Ваше перо могло бы многим зажать рот и поддержать зарождающееся дело».*

Уже через пять минут Константин Дмитриевич продиктовал ответ Корфу. Как приятно было услышать слова сочувствия делу, которому посвятил всю жизнь! Особенно в такое тяжёлое время, когда граф Толстой «давил народное образование тяжестью двух министерств» — он был не только министром просвещения, но и обер-прокурором святейшего Синода. Брала лишь досада, что из-за болезни нельзя немедленно исполнить просьбу — пером защитить благородное дело. Но Константин Дмитриевич пообещал: он сделает всё возможное, как только силы его немного восстановятся.

«Вы, должно быть, ещё молодой человек, дай же Бог Вам долго и успешно бороться на том поприще, с которого я уже готовлюсь сойти, измятый и искомканный. Дай Бог Вам принести гораздо больше пользы, чем я мог бы принести под другим небом, при других людях и при другой обстановке...»

Через две недели от Корфа пришло второе письмо. Оно выражало искреннюю признательность за тёплые слова и неподдельную сердечную заботу о здоровье Ушинского: *«Умоляю Вас, Константин Дмитриевич, дорогой, приберегите себя для дела, развитие которого теперь только настаёт».*

Да, Константину Дмитриевичу и самому казалось, что развитие дела теперь настаёт! Он большое значение придавал земским учреждениям, способным, как он полагал, по-настоящему помочь просвещению народа. «По моему мнению, в настоящее время, — утверждал он, — земская школа и народная школа — синонимы».

Знакомство с Корфом и его опытом будто влило новую энергию. Написать в защиту земских школ статью он решил непременно! И непременно захотел повидаться с Николаем Александровичем, чтобы собственными глазами увидеть школы, где с успехом преподают по его учебникам, особенно по «Родному слову».

— Весной, проездом в Крым, я заеду к Корфу, — твёрдо говорил он Надежде Семёновне.

И поехал. Но в дороге, едва добравшись до Киева, опять заболел, и с грехом пополам дотянулся до своей Богданки, на Черниговщину.

Как ни трудно ему приходилось, как ни много времени отнимала подготовка материалов для «Антропологии» и как ни часто болел он в следующую зиму в Петербурге, почти не выходя на улицу, а статью о народных школах он всё-таки написал.

Он послал её в журнал, недавно созданный, который тоже так и назывался: «Народная школа». Правда, сам своей статьёй он был недоволен.

— Болезнь держит меня до того далеко от всякой общественной жизни, — раздражённо восклицал он, — что я решительно не в силах написать ничего живого из области практики!

Это была последняя статья Ушинского, напечатанная при его жизни. Каждая строчка её проникнута глубокой верой в силы народа.

Ушинский писал так:

«Наше убеждение в отношении зарождающейся у нас народной школы в том, чтобы прежде всего предоставить это дело самому народу... Не забудем, что этот народ создал тот глубокий язык, глубины которого мы до сих пор ещё не могли измерить; что этот простой народ создал ту поэзию, которая спасла нас от забавного детского лепета, на каком мы подражали иностранцам; что именно из

народных источников мы обновили всю нашу литературу и сделали её достойной этого имени».

— Разделаюсь с «Антропологией», займусь исключительно народным образованием.

Он загорелся теперь этим желанием — написать книгу для народной школы. Стал вторично собираться к Корфу: *«Хотел бы побеседовать с человеком, таким практическим, как Вы!»*

Однако любой замысел отныне сопровождался у него уже печальным рефреном: *«Вот сколько дела, а где силы?»* Силы таяли на глазах...

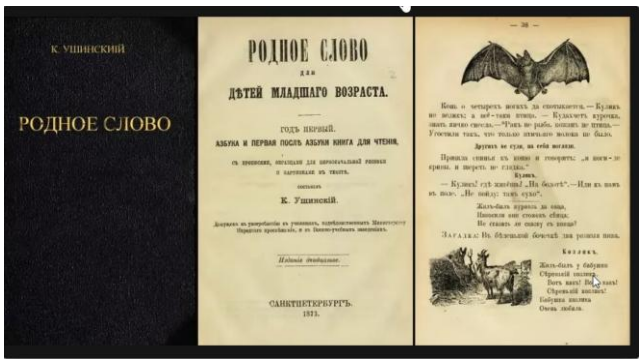
12 ГЛАВА

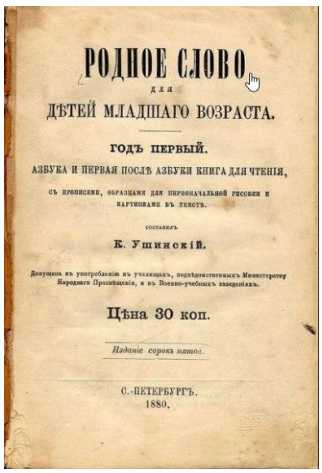
Весну 1870 года Ушинский предполагал встретить в Италии.

По дороге он опять простудился, пролежал больной в Вене и по совету врачей вернулся в Россию пить кумыс. Так Ушинский оказался в Крыму, под Симферополем, в именье Варле. Отсюда ещё раз написал Корфу: *«Соображая различные маршруты, написанные Вами, как добраться до Вас, с моими истощёнными силами, я вижу, что это для меня невозможно: и железная дорога меня утомляет, а пуститься на просёлок я решительно не смею».*

Он словно навсегда прощался с несбывшейся мечтой — не просто увидеться с Корфом, но и приобщиться к живому делу народной школы.

И вдруг... Не только в книгах с острым сюжетом бывают крутые повороты — их с лихвой подбрасывает жизнь. Константин Дмитриевич заболел лихорадкой, бросил лечиться у Варле и переехал в Симферополь. За этот очередной, уже привычный срыв здоровья был он как бы вознаграждён нежданной радостью: он попал в кипучий мир педагогов-практиков, в школу на экзамен и даже на учительский съезд…





РОДНОЕ СЛОВО
ДЛЯ
ДѢТЕЙ МЛАДШАГО ВОЗРАСТА.

ГОДЪ ПЕРВЫЙ.

АЗБУКА И ПЕРВАЯ ПОСЛѢ АЗБУКИ КНИГА ДЛЯ ЧТЕНІЯ,

съ прописями, образцами для первоначальной рисовки и картинками въ текстѣ.

составилъ

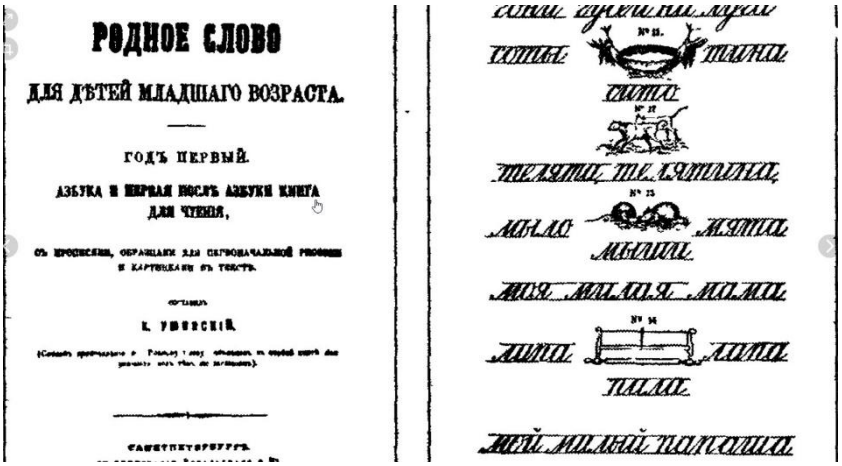
К. Ушинскій.

Допущено къ употребленію въ училищахъ, подвѣдомственныхъ Министерству Народнаго Просвѣщенія, и въ Военно-учебныхъ заведеніяхъ.

Цѣна 30 коп.

Надпись сорока копеек.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
1880.



РОДНОЕ СЛОВО

ДЛЯ ДѢТЕЙ МЛАДШАГО ВОЗРАСТА.

ГОДЪ ПЕРВЫЙ.

АЗБУКА И ПЕРВАЯ ПОСЛѢ АЗБУКИ КНИГА ДЛЯ ЧТЕНІЯ,

съ прописями, образцами для первоначальной рисовки и картинками въ текстѣ.

составилъ

К. Ушинскій.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

Ушинский гулял по Симферополю и, проходя мимо мужской гимназии, заметил на стене вывеску: «Образцовый приготовительный класс по способу наглядного обучения». Вернувшись в гостиницу, он поинтересовался у её содержателя, что это за класс? И услышал ответ: один из учителей занимается с ребятами так занятно, что даже многие почётные жители города ходят смотреть. А сейчас там собрались на съезд народные учителя со всей Таврической губернии.

Константин Дмитриевич попросил Фролкова сходить и обо всём разузнать подробно. Вскоре Александр Фёдорович возвратился с приглашением:

— Пожалуйста, говорят, двери приготовительного класса никогда и ни для кого не затворяются в течение всего учебного года.

Константин Дмитриевич отправился в гимназию.

Он вступил через калитку в небольшой дворик, аккуратно огороженный, чистенький, с выставленными в ряд клетками, в которых шустро сновали разные зверьки — белки, морские свинки. Вокруг было тихо, безлюдно — шли занятия. Пройдя по коридору к открытой двери в переполненный класс, где сидели ученики и взрослые, Константин Дмитриевич опустился на скамейку у самого входа. На него никто не обратил внимания. А он сразу понял, что молодой учитель с бородкой, несколько мужиковатый на вид, низкорослый, кряжистый, вёл с учениками беседу по тексту «Родного слова».

Пункт номер двадцатый: «Меры времени, длины и тяжести». Материал повторялся, ученики отвечали бойко. Но что особенно порадовало Константина Дмитриевича — к уроку были привлечены необходимые наглядные пособия: торговые весы и гирьки, аршин, большой циферблат с подвижными стрелками. Учитель

подробно разбирал с учениками каждое понятие, и, передвигая стрелки на циферблате, ученики вразумительно растолковывали, как они понимают, что такое час или минута.

Это было как раз то, ради чего он, Ушинский, писал «Родное слово», учебник, который он сам называл «первой после азбуки книгой для чтения». Он вспомнил, как после выхода «Родного слова» в свет наряду с восторженными письмами от родителей и учителей стали приходить и письма с упрёками. Иные из читателей даже разочаровались — они прочитали книжку с ребятами слишком быстро: сказано, что этот учебник — на два года, а хватило его всего на несколько месяцев занятий.

Но то была вина и ошибка самих учителей — они отнеслись поверхностно и несерьёзно к методе автора, накинулись на книгу, как на новинку, пересмотрели картинки да разгадали загадки и тем будто исчерпали её содержание. Но прочитать и перелистать — это ещё далеко не всё, надо именно разбирать с учениками каждое понятие, чтобы, постигая явления окружающего мира, дети поняли, какое безграничное богатство таит наш родной русский язык.

Недаром же Константин Дмитриевич столь обильно ввёл в эту книгу мудрую народную речь — уже на первых трёх страничках уместил двенадцать пословиц, поговорок и прибауток, шесть загадок, четыре народные песни, две маленькие сказочки.

Из книги «Родное слово», «Год 1»

№ 20. Меры времени, длины и тяжести

Час. Аршин. Секунда. Сажень. Четверть. Рубль. Год.

Золотник. Фунт. Месяц. Лот. Верста. Неделя. Пуд.

Минута. Век. Вершок. Сутки. Тысячелетие.

Слову вера, хлебу мера, деньгам счёт. — На завтраке не далеко уедешь. — Есть — -так сегодня, а работать — так завтра. — Время денег дороже. — Вес да мера до греха не допустят. — Болезнь входит пудами, а выходит золотниками.

Ленивый и прилежный

«Завтра поучусь, а сегодня погуляю», — говорит ленивый. «Завтра погуляю, а сегодня поучусь», — говорит прилежный.

Надоело трактирщику в долг давать, он и написал на дверях: «Сегодня на деньги, а завтра в долг».

Загадка. *Когда в году всего два дня?*

№ 21. Части дома, экипажа, колеса, растения, животного

Крыша. Колесо. Ствол. Ступица. Клешня. Корень. Копыто. Сук. Погреб. Хобот. Голова. Чердак.

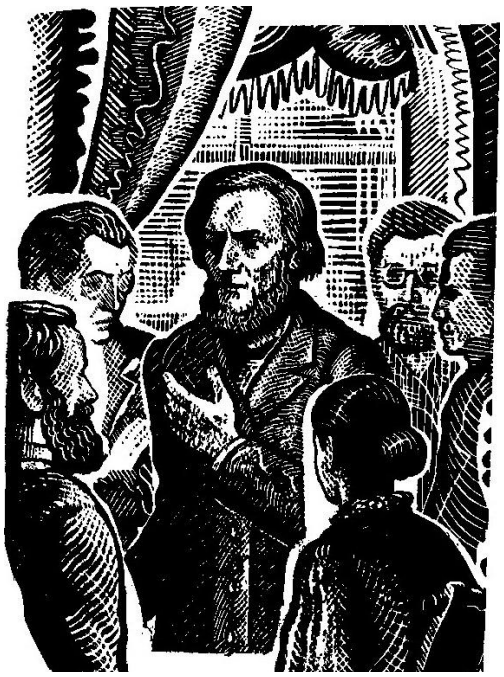
Куда конь с копытом, туда и рак с клешнёй. — Изба не без крыши. — Остёр топор, да и сук зубаст.

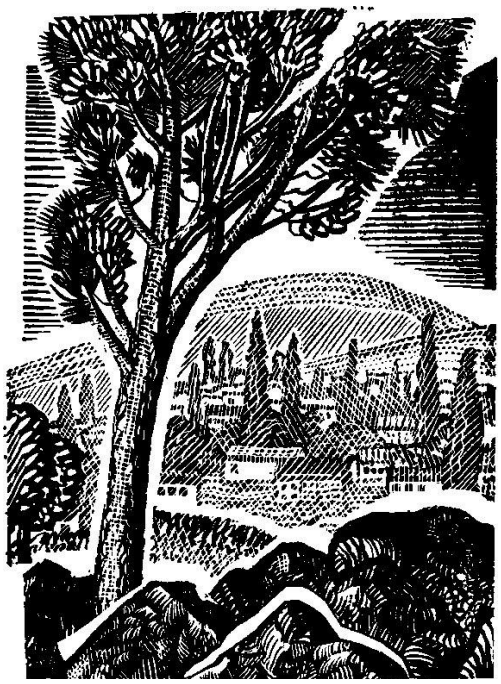
Скороговорка*. Выдерни лычко из-под кочедычка.*

Мох растение, а булыжник камень. — Кот четвероногое животное, а сверчок?.. — Колесо часть экипажа, а ступица?.. — Рот часть животного, а корень?..

Из книги «Родное слово» (для учащих)

«...Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка...»





...Очень верно проводил сейчас занятия бородач учитель по номеру двадцатому... А за ним неотрывно следили взрослые — их было в классе человек тридцать. Они не только внимательно слушали, но ещё и делали в тетрадях какие-то пометки.

Но вот отпущены ученики на чистый воздух, выбрались из класса и учителя. Константин Дмитриевич встал в сторонку. Учитель подошёл и представился: «Деркачёв, Илья Петрович».

Вблизи он тоже производил впечатление хитроватого мужичка, но цепкие, умные, с живым блеском глаза его смотрели с той проницательностью, какая рождает у собеседника искреннюю симпатию и полное доверие.

Константин Дмитриевич назвал себя. Ему понравилось, как отнёсся к этому Деркачёв. Появление автора «Родного слова» для него было, конечно, радостной неожиданностью. И он оживился, обрадовался, однако без излишней суетливости, без всякой угодливости. Константин Дмитриевич пригласил Деркачёва зайти на досуге в гостиницу.

За чашкой чая в номере гостиницы они и разговаривали весь вечер о деле, для каждого из них любимом... Рассказал Деркачёв и про себя. Учился он в Харьковском университете на медика, недоучился — уволили за невзнос платы; пробыл два с половиной года в Московском университете на юридическом факультете, но и оттуда уволили — за участие в студенческих волнениях; давал частные уроки, потом учительствовал в Херсонской гимназии. Только объяснился однажды чересчур резко с попечителем и остался без места. И вот здесь, в Симферополе, благодаря поддержке директора мужской гимназии создал опытный класс. Почему?

— Да захотелось всем показать, что можно учить детишек без битья, — ответил Илья Петрович. — В том же самом городе, в той самой гимназии, где когда-то учился сам и был бит жестоко. Нашёл я здесь в живых ещё тех людей, которые поступали с нами как палачи. И захотелось, чтобы поняли они — настало время либо уходить с этого поприща, либо становиться добрыми учителями. Конечно, я предвидел, что найду в них непримиримых врагов, и они очень мешают. Сколько нападок приходится выдерживать, насмешек, клеветы!

— Это везде так, где начинается новое, — сказал Константин Дмитриевич, вспомнив Корфа, да и свои мытарства в Смольном. И поинтересовался, принял ли Деркачёв класс в таком виде, каким видят его сейчас посетители, — с отличными,

вполне гигиеническими столами, со всей богатой классной обстановкой, наглядными пособиями и даже этим двориком.

— Нет, что вы! — ответил Деркачёв и объяснил, что всё сделано собственными руками — помогает ему его младший брат Дмитрий, ну и, конечно, сами ученики. Поддерживают новое дело некоторые члены земской управы — с их помощью второй раз собираются на съезд народные учителя. Первый съезд был месяца два назад, а этот две недели как открылся — съехались же на него учителя с Таврической губернии, чтобы слушать уроки и обсуждать их, внося свои предложения. Привлёк съезд и образованную публику города — на открытии не хватило места для всех пришедших. А задача у съезда одна — возбудить в каждом учителе инициативу и желание делиться своими наблюдениями с коллегами.

— Да вы это завтра сами увидите, — закончил Деркачёв. — Ждём вас к себе непременно.

И со следующего дня Константин Дмитриевич стал посещать занятия съезда почти ежедневно. Сначала он молча приглядывался, воздерживаясь от замечаний в классе, только на перерывах вступал с учителями в разговор и принимал в их спорах оживлённое участие. Нередко он так увлекался, что начинал кашлять, прикрыв рот платком.

Его берегли, просили не волноваться. Но он продолжал говорить.

— Я видел много съездов учителей за границей, —отвечал он. — И там действительно не волновался. А как же могу я не волноваться здесь, когда передо мной русские учителя и наши русские проблемы?

Ему хотелось передать им все те думы, которые волновали его самого при виде всеобщего невежества и застоя в России. «Эти горячие головы просто влюбили меня в их земские школы, — говорил он. — Вот поправлюсь здоровьем и посвящу земским или народным школам весь остаток своей жизни».

Он не желал терять ни одной минуты и сейчас. Деркачёв вручил ему экземпляр книги Корфа «Русская начальная школа». Константин Дмитриевич сразу принялся её читать и делать пометки. И в тот же день, 16 июня, написал Корфу из Симферополя: *«Здесь я нашёл Вашу книгу... прочёл с большим интересом. Она, несомненно, принесёт огромную пользу всем тем земствам, в которых есть порядочные люди, понимающие всю важность народной школы. Я сам нашёл в ней много нового для себя, потому что Вы взглянули на дело глазами практика, не запутанного никакими предвзятыми теориями, что большей частью случается с людьми, пишущими по тому же предмету».*

Организаторы съезда пригласили его в женскую гимназию, где в приготовительном классе занятия тоже шли по «Родному слову». Ушинский попал на экзамен и шесть часов подряд просидел в классе, задавая ученицам вопросы. «Это был прекрасный урок для всех преподавателей», — вспоминали свидетели того экзамена.

А Константин Дмитриевич, прощаясь, с улыбкой сказал:

— Я просто выздоровел у вас!

Ещё через несколько дней его возили в Бахчисарай для осмотра татарских школ. Он познакомился с медресе, посетил школу русской грамотности. Здесь впервые увидел он, как его «Родное слово» применялось в условиях нерусской школы. Двадцатилетние ученики с акцентом читали русский текст, и странно было слышать, как какой-нибудь черноволосый бородач басом вытягивал: «Ня-ня». Из бесед со взрослыми учениками Константин Дмитриевич узнал, что русское чтение даётся им легче арабского. И приятно было, что у каждого из них, кроме обязательного корана и семи его толкований, непременно был «Год I» «Родного слова».

Авторитет Ушинского, его познания, опытность, горячая заинтересованность, с какой он относился к работе учителей, вызвали к нему у всех участников съезда огромную любовь. Дело дошло до курьёзов. Один из наиболее пылких молодых

поклонников при беседе о книгах, посвящённых народным школам, желая сделать Ушинскому приятное, начал без меры превозносить его труды и одновременно с издёвкой высмеивать сочинение Корфа. Грубая лесть в глаза не понравилась Константину Дмитриевичу. Он вспылил:

— Молодой человек! Личность учителя должна быть благородной. Я говорю вам спасибо за добрую оценку моих трудов, но и труды Николая Александровича Корфа в высшей степени почтенны. По вашему мнению, его книга страдает недостатками. Но скажите по совести, а ваши труды не страдают ли недостатками ещё больше? Кто же бросает камень в ваши занятия? Я вижу ваши недостатки, но искренне радуюсь успехам. Будучи гостем, я осмеливаюсь делать замечания насчёт промахов в ваших уроках, но вижу, что вы желаете делать хорошо. А доброе желание извиняет часто худое исполнение. Этого не нужно забывать и при оценках трудов господина Корфа.

Он опять разволновался и долго кашлял. И никак не ожидал, что этот инцидент обернётся назавтра решением учителей — изгнать со съезда, как они выразились, «молодого льстеца», который своими глупыми речами расстроил здоровье уважаемого гостя.

Прослышав об этом, Константин Дмитриевич разволновался ещё больше. Он попросил Деркачёва ни в коем случае не делать истории из факта простой бестактности.

— Я на своём веку видел много горячих голов, у которых язык привешен слишком легко, но, перекипев, они делались замечательными педагогами.

«Молодой льстец» был, конечно, оставлен в кругу участников съезда. К концу занятий он сделался едва ли не самым любимым собеседником Ушинского.

За день до отъезда Константин Дмитриевич попросил показать ему преподавание геометрии наглядным способом. С первого урока до обеда он сидел в классе, хотел прийти и после обеда, но утомился и, отдыхая в гостинице, запоздал. Деркачёв не стал продолжать урока без него, заменил геометрию пением. Константин Дмитриевич всё-таки пришёл. Он остановился у двери, слушая, как согласно, красиво поют дети. Это до слёз растрогало его, и он воскликнул:

— Да, дело образования простого народа двинулось вперёд!..

Утром в день отъезда, когда Константин Дмитриевич укладывал вещи, в номер вошел Деркачёв. Поздоровавшись, он что-то сказал тихонько Фролкову. Тот обратился к Ушинскому:

— Там, в общем зале гостиницы, собрались учителя. Они просят разрешения проводить вас.

— По своей ли доброй воле они это делают? — встревожился Константин Дмитриевич.

— Да, да, — поспешил уверить Деркачёв. — Они сами искренне пожелали сделать вам приятное. Официального принуждения никто не делал.

Константин Дмитриевич подумал и вышел в залу.

Тот самый «льстец-буян» первым выступил вперёд и, подняв бокал с шампанским, произнёс небольшую, на этот раз вполне скромную, но прочувствованную речь.

Константин Дмитриевич сделал глоток и тоже заговорил. Он сказал, что у него есть заветная мечта. Ему хочется, чтобы на Руси поскорее пришло такое время, когда обучение для всех детей русского народа станет обязательным.

Мысль эта была тогда слишком несбыточной. Поднялся шум. Но Константин Дмитриевич продолжал говорить. И закашлялся. Фролков пытался его удерживать, но он отводил руку секретаря в сторону и говорил, говорил...

Он уезжал наёмным экипажем в Ялту через Алушту. Когда, простившись со всеми, он уже садился в экипаж, учителя бросились к заранее заказанным ими

извозчикам, чтобы хоть короткое расстояние сопровождать его. Учителя-татары вскочили на верховых лошадей.

Пожимая Деркачёву руку, Константин Дмитриевич сказал: «Мне просто не хочется вас покидать. Вы меня словно возродили».

Но вот он сел рядом с Фролковым и сразу ссутулился, опустил низко голову, как-то обмяк, отяжелел. Заметив, что он загрустил, всадники-учителя, едва выехали за городскую черту, принялись лихо джигитовать — вертясь вокруг экипажей, они то снимали, то надевали барашковые шапки, подбрасывали их в воздух, кидали на землю и поднимали на всём скаку платки.

Константин Дмитриевич заулыбался. В двадцати верстах от Симферополя все простились с ним уже навсегда...

А он долго оглядывался, пока они не скрылись из виду, и было ему не только грустно, но и умиротворённо-покойно — от того, что есть в России такие люди, от того, что он увидел их воочию и прикоснулся к живому делу. Он понял, что они нужны ему, и он нужен им, и, значит, не напрасно потрачены творческие силы, а сделано всё-таки такое, за что он никогда не ожидал наград, хотя теперь и видит, что добрая слава ему будет воздана... И он благодарил жизнь, которая подарила ему напоследок тихую радость такой уверенности, и думал: это уж, конечно, заключительный аккорд в его многотрудной жизни, аккорд, справедливо услаждающий усталую душу.

Но было суждено ему пережить ещё одно потрясение — самое ужасное для любящего отцовского сердца...

13 ГЛАВА

Встреча с семьёй после разлуки всегда была для Ушинского волнующим праздником. На этот раз он стремился на свой хутор в Богданку с особым нетерпением: уже должен был вернуться домой, окончив инженерное училище, сын Павел. Восемнадцатилетний любимец показывал замечательные успехи. В инженерное

училище он был принят после двухгодичного курса в военной гимназии без всяких экзаменов и проявлял похвальное увлечение учебными занятиями. Все шероховатости его характера за последнее время сгладились, и при всей своей строгой требовательности к детям отец, глядя на старшего сына, только одобрительно улыбался.

С такой невольной, застывшей на лице улыбкой, Константин Дмитриевич и ехал, рисуя в мыслях картину близкого свидания со всеми родными. Он прибыл в Богданку к вечеру, и первым его вопросом, который он задал с порога, было: «Где Пашута?» Ему ответили, что, утомившись на охоте, сын спит во флигеле. Константин Дмитриевич не стал тревожить юношу, отложив разговор с ним до утра. А утром, поднявшись раньше всех, он поспешил к флигелю, но, заглянув туда, никого не увидел. Где же сын? Уже предчувствуя недоброе, он спросил у проходившего мимо старика, не видел ли тот Павла. И этот чужой человек, житель деревни, не предупреждённый родными Ушинского, сговорившимися не сообщать отцу жестокую правду сразу, ответил просто, даже слегка удивившись: «Да мы же его вчера похоронили...»

Константин Дмитриевич рухнул без чувств.

Он пришёл в себя, больной и разбитый, и заперся в кабинете. «Нет, нет, Паша, не может быть!» — доносились оттуда его глухие стенания. И непрерывно звучали шаги — целыми днями ходил он из угла в угол, стиснув голову руками. Его пытались отвлечь, успокаивали, не хотели оставлять одного, но он гнал всех от себя и один шёл на свежую могилу, потерянный, ничего не видящий вокруг, и снова, возвратившись в дом, запирался в кабинете. Ему уже сообщили, что произошло.

За день до приезда отца Павел с друзьями, гостившими в Богданке, собрался на охоту. Держа в руке ружьё, увешанный охотничьими принадлежностями — сумкой, патронницей и револьвером, купленным ещё когда-то за границей отцом, — он уселся в линейку, и такой весёлой компанией отправились они в путь, к местечку Воронеж. Уже подъезжали к месту, когда он вдруг вздумал соскочить с линейки. Сумка ударилась о револьвер и раздался выстрел. Пуля попала в бок, прошла вверх и засела в плече. Дали знать матери. Надежда Семёновна привезла сына в Богданку едва живого. Через несколько часов он скончался. В полдень его погребли, а к вечеру приехал отец.

...Ушинский переживал и гибель сына, и утрату своей надежды. Вот и опора семьи, бедный мальчик, к которому он был особенно строг и придирчив. Мучили теперь угрызения совести... И за то, что купил роковой револьвер. И за то, что лишний раз не говорил ласковых слов. За то, что все они не уберегли сына от гибели, как когда-то от злополучного взрыва во время химических опытов, когда у Паши опалились волосы и чуть не пострадали глаза. Тогда всё обошлось — месячное лечение в тёмной комнате... А вот теперь... Всю короткую жизнь сына перебрал он за эти дни и недели, которые окончательно уже сломили его самого.

Лишь через три месяца смог он взяться за перо, чтобы написать Корфу:

«Милостивый государь, Николай Александрович! Вы, вероятно, недоумеваете, почему я так давно не отвечал на последнее письмо Ваше. Но если бы Вы знали, что со мной случилось... Я получил письмо Ваше и недели через две написал на него ответ, но ответ этот был таков, что я хорошо сделал, что не послал его Вам; Вы бы видели из него только, как низко может упасть человек под тяжким и нежданным ударом судьбы... Мы, наконец, совсем покинули Петербург и переселились в Киев, где покудова устроились кое-как...»

«Хорошо ли мне в Киеве? Увы, нехорошо, добрейший мой Яков Павлович!» — это он высказывает уже в письме к Пугачевскому, которому тоже только в эти дни, в конце сентября, сообщает впервые о потере сына. *«Но думаю, что для семьи моей будет лучше, чем где-нибудь... вот почему и выбрал Киев».*

У него теперь одна-единственная цель — как-нибудь устроить семью, потому что страшно подумать, какими беспомощными они останутся без него. О себе он уже не думает.

Но нити, связывавшие его с Петербургом, Константин Дмитриевич рвёт с болью. Худ ли, хорош ли этот холодный каменный город на Неве, а в нём много проработано, много перечувствовано. Здесь бедствовал молодой чиновник десятого класса без куска хлеба и здесь же потом составил чуть ли не состояние гонорарами за книги, здесь напрасно искал места уездного учителя, и здесь же его собеседниками были высокопоставленные вельможи и даже сама царица; здесь был он неведом ни одной душе и здесь же получил такое известное имя... Вот почему стало больно сердцу, когда пришлось прощаться с Питером, когда он уже знал, что не суждено вернуться и увидеть эти улицы, здешних людей и друзей своих, с которыми сроднился. *«И зачем это под старость, когда уже новые душевные привязанности устанавливаются так трудно и непрочно, приходится мне расставаться с такими добрыми людьми?»*

«Крепкое спасибо Вам, добрейший друг мой, Яков Павлович, что в течение пятнадцати лет Вы позволили мне глубоко уважать и любить Вас, не потеснив этого чистого чувства ни самой лёгкой тенью. Увидимся ли? Едва ли. Моя многоболезненная жизнь, кажется, уже иссякнута».

Но даже в таком состоянии он рвётся делать дело!

И Корфу, и Пугачевскому он сообщает, что намерен поехать в Крым, в Севастополь, чтобы, живя там зимой, продиктовать третий том «Антропологии», который в материалах уже готов. Именно так он и пишет абсолютно одинаково в том и другом письме: *«продиктовать третий том моей „Антропологии“, который в материалах уже готов».*

Продиктовать он уже никому ничего не успел.

А когда после его смерти разобрали бумаги, то оказалось: из выписок-черновиков, которые остались в архиве, невозможно составить хотя бы малую толику заключительного тома!

Однако он ясно говорил: «В материалах уже готов». Значит, весь огромный труд его был в голове. Перестал работать волшебник-мозг, и безвозвратно погибли для человечества мысли, которые могли ещё обогатить педагогику.

Нелегко было Константину Дмитриевичу в последнее время и потому ещё, что одолевали его чёрные сомнения и даже разочарования при раздумьях о судьбах мира. Он прожил жизнь не суетно, но беспокойно, движимый непрестанной душевной жаждой облагородить соотечественников, чтобы улучшилась жизнь на земле. Но исчезли иллюзии сороковых годов, когда казалось, будто индустриальный век способен принести людям счастье. За границей более чем предостаточно накопилось впечатлений, убеждающих в мещанской ограниченности буржуазного прозябания. *«Не показывает ли нам и современное положение западного общества,* — писал Ушинский, — *что увеличение массы богатства не ведёт ещё за собой увеличения массы счастья?»*

Теперь же, к концу жизни, он оказался свидетелем страшной сущности капитализма. В борьбе за господство в Европе затеяли кровавую бойню Франция и Германия.

«Неужели пришлось мне на склоне моей жизни усомниться в прогрессе? — восклицал Ушинский в своём последнем письме к Корфу 27 сентября 1870 года. — *Какой же тут прогресс, когда в настоящую минуту образованнейшие нации мира грызутся, как дикие волки?.. Неужели школы нужны были только для того, чтобы раздуть коллективное самолюбие племени и дать фразы для прикрытия самых чёрных дел?.. А медоточивые пастырские рацеи, благословляющие именем Христа грабёж, поджог, измену, убийства, блуд, пьянство, месть, коварство — всё, что есть чёрного на земле! Как кстати здесь имя распятого нищего!»*

Он понимал, что Германия — *«эта многоучёная и нравственная Пруссия»*, — только ещё раскрывает ворота в ужасное будущее для всей Европы. С удивительной, поражающей нас сегодня прозорливостью он предсказывал: *«Я считаю войну Германии с Россией совершенно неизбежной».* Эта война, объяснял он, сулит немцам очень богатую и очень лёгкую добычу. «*Я долго жил в Германии и убедился, что война с Россией будет национальнейшей войной для немцев».* И он снова ужасается: какая страшная перспектива! Война без конца, разорение, оскотение, солдатство — вот тебе и мирный прогресс.

«Конечно, обнажающий меч мечом и погибнет», — изрекает он крылатую фразу, свидетельствуя, как неколебима его вера в победу России над любыми завоевателями. *«И если Бисмарк говорит, что всякое великое дело совершается кровью, то он врёт — из крови будет только новая кровь».*

Будучи убеждённым, что *«Европа с пруссаками наверху, тяжело налёгшими на славянские и романские племена»,* не может представить залог какого-нибудь продолжительного мира, он делал вывод:

«О, прийдёт время, когда сами немцы сочтут Бисмарка злейшим врагом Германии, Пруссии, человечества. Но пока прийдёт такое время, страданий придётся выпить человечеству целый океан».

Он говорил о Бисмарке, но, читая сегодня эти строчки, написанные свыше ста лет назад, мы, пережившие уже не одну, а две мировые войны, не видим ли перед собой фигуру и «бесноватого фюрера», которого тоже уже прокляли и осудили не только все народы мира, но и сами немцы?

...«Чему же мы должны теперь учить детей? ...Я думаю, что мы должны необходимо сделать наши школы воинственными, как ни противно это духу истинной христианской школы; но без независимости нет развития, и её-то прежде всего следует обеспечить».

Он мучился противоречиями жизни, но и сам был во многом противоречив. Он молился Богу, но считал человека не творением духа святого, а венцом развития материальной природы. Он писал о душе, но всем психическим процессам давал естественнонаучное объяснение. Он считал христианскую религию основой морально-нравственного воспитания, но всегда ненавидел поповщину, и духовенство не зря обвиняло его в атеизме... Он жил в эпоху, когда уже проявилось «бешенство страстей капитализма», но, как и многие современники той эпохи, не видел ещё, где исход для истинного процветания будущей России.

В Крым Ушинский, как намечал, не поехал. Однако в ноябре, не без колебаний, он с младшими сыновьями, Костей и Владимиром, и в сопровождении Фролкова отправился в Одессу. И опять по дороге простудился и, едва добравшись до Одессы, свалился в постель с воспалением лёгких. Из Киева была вызвана Надежда Семёновна.

Он почувствовал себя вдруг хорошо и только пожаловался, что не хватает света. Зажгли четыре свечи, потом принесли ещё две, а он всё твердил: «Света, ещё света!» И наконец комната осветилась настолько, что Константин Дмитриевич удовлетворённо улыбнулся.

В этот вечер он и скончался — тихо, словно уснул.

Никто в Одессе не знал Ушинского лично. Но едва слух о смерти его разнёсся по городу, как множество людей пожелали отдать дань глубокого уважения останкам русского педагога. Его имя оказалось таким известным, слава такой великой, что на перенесение тела до железнодорожной станции «Куликово поле» явилась огромная толпа народа. В печальной процессии вместе с родными шли за гробом учителя и ученики одесских гимназий, преподаватели всех средних и высших учебных заведений, люди самых разных сословий.

«Вот гроб человека, который всю жизнь свою принёс на пользу своих юных соотечественников», — сказал в речи на станции учитель Росиков.

«Константин Дмитриевич Ушинский — автор „Детского мира“, „Родного слова“ и „Педагогической антропологии“. Умер 21 декабря 1870 года на 47-м году жизни» — так гласит надпись на надгробном памятнике в Выдубецком монастыре.

Его похоронили на берегу Днепра под огромным каштаном. Кончилась короткая человеческая жизнь, на долю которой выпало промелькнуть среди миллионов земных существований в середине XIX столетия. Но было это одновременно и началом новой, уже бесконечной, бессмертной жизни — в памяти людских поколений, которые никогда не забывают достойных. Недаром же на памятнике его есть ещё и такая надпись: *«Мёртвые да почиют от трудов своих, дела бо их ходят вслед за ними».*

И говорят о нём люди разных поколений, разных эпох...

И. П. Деркачёв, симферопольский учитель:

«Этот воспитатель воздвиг себе памятник не в одних сердцах и умах русских детей — многие труженики народного образования долго и с любовью будут вспоминать его плодотворное дело».

Д. Д. Семёнов, педагог, друг Ушинского:

«Если весь славянский мир гордится Я. А. Коменским, Швейцария — Песталоцци, Германия — Дистервегом, то мы, русские, не забудем, что среди нас жил и учил Константин Дмитриевич Ушинский».

Н. Ф. Бунаков, выдающийся русский педагог:

«И до настоящего времени, несмотря на то, что прошло уже более тридцати лет со времени Ушинского, сочинения его не утратили своего значения».

В. Н. Столетов, президент Академии педагогических наук СССР:

«Согласно календарю Константин Дмитриевич Ушинский — человек девятнадцатого века. Но благодаря общественно полезной деятельности он живёт и в наш век».

Так продолжается его жизнь.

Памятники ему стоят на улицах наших городов, его имя носят институты, школы, библиотеки. Его бронзовый бюст установлен в конференц-зале Академии педагогических наук, а портреты висят почти в каждой школе. Стипендии его имени получают студенты, премии и медали с его изображением присуждаются учёным. Книги его издаются на десятках языков и у нас, и за границей. Как мудрый советчик, он всегда рядом с тем, кто учит, и со всеми, кто учится. Пусть же неумолчно звучит для нас и сегодня его добрый, искренний, чистый голос...

«Человек рождён для труда... Сознательный и свободный труд один способен составить счастье человека... Наслаждения являются лишь сопровождающими явлениями... Богатство растёт безвредно для человека только тогда, когда вместе с богатством растут и духовные потребности человека... Труд — лучший хранитель человеческой нравственности, и труд же должен быть воспитателем человека... Но труд потому и труд, что он труден, а потому и дорога к счастью трудна...»